

**Николай
ПОЛОТНЯНКО**

г. Ульяновск



ЖЕРТВА СЛАДОСТИ НЕМЕЦКОЙ

исторический роман (журнальный вариант)

ГЛАВА ВТОРАЯ

- 1 -

Время для похода в Немецкую слободу Гришка выбрал самое тихое, послеобеденное, когда жители не только Москвы, но и всего обширного Русского государства предавались дневному сну. В этот час улицы столицы обезлюживали, можно было пройти её насквозь и встретить всего несколько человек, которым помешали взлечь на лавку лишь только самые животрепещущие обстоятельства их жизни.

Иноземным многие порядки русских казались странными, но обычай спать после обеда, предаваться беспамятству среди бела дня, когда наступает время делать самые нужные дела, искать и обрести свою выгоду, эта пагубная привычка была, по немецкому мнению, самым главным пороком русских людей, из-за которой они будут всегда не поспевать за Европой, устремлённой к достижению земного рая на земле, где вряд ли найдётся место тупым русским лежням.

Перейдя по мосту Язу, Гришка увидел ограду

из новых бревновых кольев, а в ней проездные ворота, где стоял военный немец в железной шапке и с палашом на поясе и разглядывал его с явной неприязнью, причина которой была в том, что между русскими и немцами нередко возникали разногласия и тогда немцы укрывались в своём Кукуе, а русские являлись туда и устраивали кулачные схватки, кои были иноземцам, любившим поражать своих супротивников издали камнями и тупыми стрелами, не по нутру, и они начинали палить холостыми зарядами из пушек, этот шум доходил до ушей великого государя, и он посылал своих стремянных стрельцов разогнать московскую гиль и объявить своё милостивое слово пострадавшим иноземцам.

– Кого ищешь? – спросил немец, пылливо разглядывая Котошихина.

– Купца Якова Блуме, по торговому делу.

Немец смерил пришельца цепким взглядом и отступил в сторону. Гришка оглянулся: из-за речки за ним вроде никто не приглядывал и у него полегчало на сердце. Кажется, его приход на Ку-

Продолжение. Начало в № 9-10 2023 г.

куй произошёл незаметно, и он, скоро миновав ворота, вошёл в слободу и остановился, поражённый открывшимся перед ним видом.

Среди русских немцев людей недостаточных не было, и они исхитрились в азиатской Москве создать кусочек Европы: построили для себя каменные избы с черепичными крышами и стрельчатыми окнами, рядом с которыми находились сады и огороды, дороги в слободе были вымощены камнем, подходы ко дворам и дорожки вдоль улиц посыпались сеяным речным песком, здесь было немало пивных и трактиров, в которых всё блестяло чистотой, от начищенной до ослепительного блеска медной ручки на входной двери до накрахмаленного чепца на голове розовощёкой и пышнотелой трактирщицы.

Вокруг былолюдно, всяк занимался своим делом, и на Гришку немцы не поглядывали, разинув рот, как это принято было между москвичами, но и не привечали, а старались обойти его стороной, как внезапно возникшее на их пути препятствие. Котошихин надеялся к кому-нибудь обратиться с вопросом, как найти Якова Блуме, но, собираясь заговорить, наталкивался на такую холодную пустоту во взоре, что смущался и отступал. Казалось, все немцы были заняты своим делом, но, миновав две улицы, Котошихин увидел опрятного иноземца, который сидел в кресле возле ворот своего дома и попыхивал короткой глиняной трубочкой. Гришка на него глянул, и немец, пыхнув дымком, спросил пришельца:

– Господин пришёл в гости к знакомому и не может его найти?

– Мне нужен купец Яков Блуме, – сказал Котошихин, радуясь тому, что и среди иноземцев попадаются отзывчивые люди.

– Я помогу твоей беде, – улыбнулся немец и обернулся. – Сельма, поди ко мне!

Без промедления появилась миловидная девушка, которая, прихватив пальчиками края широкой юбки, чуть присела, приветствуя Котошихина, и окинула его скорым взглядом, в коем Гришка успел углядеть призыв к баловству.

– Проводи господина к Якову Блуме, – велел немец. – Да на обратном пути не вздумай задерживаться!

Смысл последних слов, сказанных немцем своей служанке, скоро стал ясен Котошихину: Сельму то и дело окликали встречавшиеся на каждом шагу воинские немцы, она им сахарно улыбалась и, судя по её веселому виду, была очень довольна знаками внимания, которые ей оказывают. Шагая за ней, Гришка разглядывал девку во все глаза от мелькающих при каждом шаге аккурат-

ных башмачков до завитков рыжеватых волос на нежно-розовой шее, чувствуя, как что-то в нём начинает подрагивать и трепетать.

Сельма была так любезна к москвиту, что не только указала ему на большой каменный дом, где жил Яков Блуме, но и ввела его в просторную прихожую, где Гришка вручил невысокому, пухлолицему, с острыми живыми глазами, купцу письмо Адольфа Эберса.

Блуме, повернувшись к свету, тщательно его оглядел, затем окинул внимательным взором Котошихина и, полуобняв Сельму, вышел с ней в другую комнату. Скоро он возвратился, уже без письма и один, и пригласил гостя в свои покои. Шведский агент по торговым, но, главное, по тайным делам, не вскрывая письма, по узлу на грамотке уже знал, что Эберс хотел иметь полное представление о Котошихине, чтобы решить – привлекать его на свою сторону или забыть о нём навсегда. Для этого купец решил не расставаться сразу с Котошихиным, а задержать его на некоторое время у себя, чтобы к нему привыкнуть и присмотреться, того ли он пошиба человек, чтобы начинать с ним смертельно опасные игры. На Москве иноземцам хорошо платили, но дорога на плаху им никогда не была заказана, немцев казнили смертью и членовредительством и за меньшие вины, чем сношения с врагами великого государя и посягательства на государственные тайны.

Яков Блуме знал, чем заинтересовать неотёсанного москвитя, и провёл его в свой кабинет, где усадил гостя в широкое и покойное кресло, предложил ему угоститься сладким венгерским вином из хрустальной чарки и повёл осторожную беседу, а по сути дела допрос с частыми перерывами, чтобы его не насторожить и не напугать своей настойчивостью. Перерывы заполнялись не только питием хмельного венгерского, но и показом различных диковинок, которых в кабинете купца было предостаточно. Гришка как вошёл в кабинет, так сразу углядел большой пёстрый шар на тонкой жердочке и, потягивая вино и отвечая на вопросы хозяина, нет-нет да бросал на него любопытные взгляды, что не прошло мимо внимания хозяина, и он поднёс заинтересовавшую гостя игрушку к нему поближе и сильно крутанул шар, так что тот запестрил перед глазами Котошихина нарисованными на нём синими, коричневыми, зелёными и белыми пятнами.

– Сие земношарие, сиречь глобус, работы славного фламандского географуса Меркатора я приобрёл на ярмарке во Франкфурте-на-Майне, – самодовольно объяснил предназначение заин-

тересовавшего московита предмета Яков Блуме.

Гришка вздрогнул и отшатнулся: сегодня утром подьячий Приказа тайных дел Юрий Никифорович страшал его судьбой болтливового подьячего Аптекарского приказа, который впал в латинскую ересь стоянием солнца на одном месте, и, видимо, не зря, подумалось Котошихину, не успело и свечереть, как первый же встречный немец помянул его в еретическую западню.

Однако у Гришки не хватило сил отвернуться от иноземной хитрости, природное любопытство взяло верх над осторожностью, он одним пальцем коснулся гладкой поверхности глобуса, нажал, и шар стал медленно поворачиваться вокруг оси.

– Желаете поглядеть, где Москва? – спросил Блуме и указал на большую точку, возле которой по-латыни было написано название русской столицы. – А это Варшава. Стокгольм, надеюсь, ты и сам найдёшь. Ведь ты недавно оттуда, как там тебя встретили?

– Грех жаловаться, – сказал Котошихин. – С добром встречали и провожали. Подарком пожаловали меня, а деньгами – моих людей.

– Я сам из Бремена, – сказал Блуме. – И могу сказать, что шведы честностью не уступают моим соотечественникам. Господин Эберс – мой давний торговый партнер, и он ни разу меня не подвёл. Ты это должен, Григорий, знать и быть в полной уверенности, что все твои услуги господином Эберсом будут достойно вознаграждены.

Купец подошёл к столу, над которым возвышался затейливо изукрашенный шкафчик, распахнул дверцы и, возвратившись, положил перед Гришкой пять рублей серебром.

– Советую тебе избавляться от меди, – сказал Блуме. – Медные деньги вот-вот доведут народ до бунта. Или это тебе ведомо лучше, чем мне?

– Откуда мне знать, что случится на Москве, – пробормотал Котошихин, складывая монеты в кошелек. – Я мотаюсь уже третий год по посольствам, где нам платят пока что серебром.

Неожиданно в комнате начались мелодичные перезвоны, это заиграли часы с боем, до которых Яков Блуме был великий охотник, и они составляли значительную долю из поставляемых им на русский рынок товаров. С некоторых пор московские дворяне приохотились к часам, и владение ими стало означать определённый уровень достатка, ниже которого опускаться было нельзя. А те, кто были действительно богаты, соперничали друг перед другом дорогими часами.

– Господин Эберс когда-нибудь непременно явится в Москву, – многозначительно сказал Блу-

ме. – У шведского короля и московского царя много взаимных интересов. Великий государь живо интересуется всем, что происходит в Стокгольме, и там тоже весьма любопытны к московским делам.

– Мне, наверно, пора, – не совсем уверенным голосом произнёс Котошихин. – Я порядком здесь засиделся.

– Ничуть! – живо воскликнул Блуме и вышел из комнаты в коридор, где его ждал запыхавшийся и потный приказчик.

– Ну как? – спросил он и стал жадно прислушиваться к тому, что нашёптывал ему в ухо его человек, бегавший к одному из доверенных лиц шведского агента в Москве, который знал наизусть все приказы, особенно подьяческое сословие, кое в них обитало. Сведения, принесённые приказчиком о Гришке, были обнадеживающие: умён, самоучкой постиг многое в посольских делах, его родитель разорён судьей Земского приказа Елизаровым, сам Котошихин за ошибку в написании государева титула бит батогами, чем должен быть весьма уязвлён, и посему может отозваться на проявленное к нему участие, заботу и звон серебряных и золотых риксдалеров. Всё это Блуме намотал на ус и вернулся к своему гостю с самой благожелательной улыбкой.

– Прошу, господин Котошихин, не обижать меня своим торопливым уходом, – ласково произнёс купец. – Кукуй – самая весёлая слобода во всей Москве, и я надеюсь показать тебе много интересного.

Гришка не надеялся на столь радушный приём и не стал кочевряжиться, тем более что намерения хозяина соответствовали его давнему тайному желанию отведать немецкой сладости, о которой на Москве ходило много самых противоречивых слухов: одни утверждали гласно, что всё творимое на Кукуе есть распутство и посрамление рода человеческого, другие не менее рьяно нашёптывали, что немцы открыли для себя смысл жизни, в которой Бог и человек не помеха друг другу, а доброхоты и помощники.

В кабинете купца из священных предметов было только одно распытье, и Гришка, хотя он и был довольно равнодушен к религии, поинтересовался, чем лютеранство разнится от русского православия.

– Как бы это доходчивее объяснить, Григорий, – сказал Блуме, раскуривая табачную трубочку. – Разница, понятная мне как купцу, заключается в том, что русский Бог скорее благосклонен к нищим и преступникам, чем к добропорядочным людям. А наш лютеранский Бог заботится о лю-

дях предприимчивых, добычливых, не о тех, кто проматывает родительские зажитки, а приращивает их своим неустанным трудом. А теперь сам реши, чей Бог надёжнее и справедливее – тот, что поощряет бездельников и воров, или тот, кто благословляет тружеников?

«Действительно, – подумал Котошихин, – какой толк царю лобызаться и христосоваться на Пасху с юродивыми? Глупости всё это. В Стокгольме я ни одного нищего не увидел, там королю и канцлеру, чтобы облобызаться с настоящим нищим, надо привезти его из Москвы, а своих у них давно нет, а может, и вовсе не бывало».

В расчёты Блуме не входило заводить богословские прения, и он протянул Гришке трубку, точно такую, какую держал в руке.

– Я приобрёл в Дрездене полный набор фарфоровых курительных трубок. Курение табака в Европе покорило все сословия, особенно среднее и низшее, которые восприняли курение как возможность через него явить своё равенство с сословием высшим и даже с монархами.

– Это каким же образом? – удивился Котошихин.

– Очень просто, – сказал Блуме и, затянувшись, выпустил изо рта одно за другим несколько замысловатых колец дыма. – В Европе табак дешёв и всякий бедняк может не отказывать себе в удовольствии предаваться курению точно так же, как и сильные мира сего.

– Мы не в Европе, – сказал Гришка, разглядывая подаренную ему трубку, – посему я твоего, Яков, подарка принять не могу.

– Это не беда! – воскликнул немец. – Твоя трубка будет храниться здесь, и ты у меня в гостях всегда сможешь ею пользоваться. А теперь набей трубку табаком и раскури её до большого дыма, который сразу освежит тебе голову и прояснит взгляд.

Однако, вопреки утверждениям Блуме, табачный дым опьянил Котошихина, в голове у него стало шумливать, взгляд затуманился, и его стало клонить в дрему. Остроглазый немец углядел, что Гришке становится дурно, и, взяв у него трубку, повёл в сад, где уложил его в сетку, растянутую между деревьев, и стал покачивать, борючая под нос что-то покойное и музыкальное. На Гришку, утомлённого венгерским вином и оглушённого табаком, накатила сон, и он заприхрапывал, пуская себе в бороду сладкие слюны.

Осенняя Москва согревалась прощальным теплом бабьего лета, и под перешёптывание зардевших листьев вишен и яблонь в саду гостеприимного немца Гришке спалось не хуже, чем на

домашней лавке, покрытой мягкой овчиной. Однако в спокойное течение сна откуда-то свалился, как подмытый водой береговой куст в реку, подъячий Никифоров, и Котошихин остро почувствовал, как ему становится дурно от сердечного колотья, которое охватило его, когда подъячий Тайного приказа указал на него пальцем и возгласил: «На дыбу его, переметчика!» Но выскочившие схватить Котошихина ярыжки не смогли его достать, послышались звуки неземной музыки, и она вознесла Гришку от злобного и суетного мира на воздуха, и он возлёт на облако рядом с девицей, которая, склонив голову, играла на лютне явно божественную мелодию, потому что вокруг хороводились птички и бабочки и подпевали, и подсвистывали, и подщелкивали звукам струн, коих касались нежные пальчики игрицы.

– Пора, Григорий, вставать к столу! – восторжился Котошихина неугомонный немец.

Гришка вывалился из лежака на землю, встал на ноги и огляделся. На небольшой полянке стоял накрытый шитой серебром скатертью стол, на котором стояли, лежали и возвышались пития и яства в судках, на блюдах и в высоких кувшинах и штофах.

– Я тебе, Григорий, припас подарок! – объявил Яков Блуме и повернул к гостю девицу, которая играла, полутвернувшись от стола, на лютне. У Гришки перехватило дух: это была Сельма, одетая в красное платье, открывавшее вспыхнувшему взору подъячего белые плечи и почти обнаженные груди девицы, которая, не смущаясь, гладко облизала свои розовые губки и весело глянула на столбеневого от обилия женских прелестей Котошихина.

«Видно, мой сон всё ещё не кончился, – пронеслось в его воспалённом мозгу, – только с облака я переместился на землю».

И лишь горячее прикосновение женской ручки убедило Гришку, что это не бред, он опустился за столом на стул, рядом с ним, прижавшись к его ноге своей ножкой, примостилась Сельма. Яков Блуме со своей девицей разместился напротив, все подняли хрустальные чарки с венгерским искристым вином и после счастливых восклицаний благополучно их опустошили и оставили в сторону, чтобы слуга мог их наполнить вновь, а сами обратились к закускам.

С каждой опустошённой чаркой отношения между Сельмой и Гришкой становились всё теснее и чувствительнее, она забралась к нему на колени, а он запустил руку за вырез платья и обшаривал всё, до чего только мог дотянуться. Блуме со своей девицей ничуть не отставали от них в

своих вольностях, а кое в чём даже их опережали: купец пытался залезть к своей подруге с головой под юбки, а та его дальше коленей не допускала. Углядев такое, Гришка решил тоже залезть Сельме под юбки, но не головой, а руками, и уже потянулся к низу подола, но вдруг откуда-то донеслась плясовая музыка, и девицы воскликнули:

– Мы желаем танцевать!

Блуме, хоть и был порядком нетрезв, голову не потерял и сразу понял, что показывать Котошихина, на которого в канцелярии шведского короля имели виды, ни в коем разе нельзя, и он нашёл выход:

– В трактире такого стола, как здесь, не будет. Давайте танцевать здесь под чужую музыку!

Предложение всем пришлось по душе, Блуме сцепился руками со своей подружкой, Сельма обхватила Гришку, и все начали топтаться, подпрыгивать, дрыгать ногами, повизгивая от радости и похотывая от предчувствия удовольствия, которое они получат, когда останутся наедине друг с другом. Котошихин и не успел заметить, как наступили сумерки, и Сельма повлекла его за собой в открытые двери какого-то строения, которое оказалось амбаром, где нашлось место для лавки, достаточно широкой, чтобы на ней можно было поместиться вдвоём.

Гришка проснулся на коровьем реву, в утренних сумерках пошарил вокруг себя, но Сельмы не нашупал, та, воспользовавшись тем, что он лишился сил, ускользнула от него, не сказав, где они сойдутся в другой раз для ласковой встречи. Он спустил ноги на пол, кинулся искать свои штаны, которые вечером кинул неведомо куда. Пошарил вокруг себя – пусто, присмотрелся вокруг – ничего, и скоро зашлёпал босыми ногами к открытой двери, выглянул, пригляделся к молозивным от тумана сумеркам и радостно вздохнул: целы оказались штаны, которыми он весьма гордился, из тонкого, цвета клюквы, анбургского сукна, купленные им на наградные деньги после заключения Валиесарского мира, лежали на ступенях амбара, слегка увлажнённые утренней росой. Гришка подивился тому, что скинул портки ещё по дороге к лавке, и слегка возгордился проявленной им этой ночью прытью, но голые ноги холодило утренней сыростью, и он скоро оделся, обулся и успел это как раз ко времени – явился приказчик и сказал, что ему пора уходить с Кукуя, пока Москва ещё только-только начала просыпаться, и за немцами нет такого строгого пригляда, каким он бывает днём.

Возле ворот Котошихина поджидал одетый в лёгкую шубу на исподнее Яков Блуме.

– Поторапливайся, Григорий! Встречи со мной не ищи. Я сам тебя найду.

– А как Сельма? – спросил Гришка.

– Что, хороша? – хихикнул Блуме. – Знамо, что она стоит тех рублей, что вчера получила. Забудь её. Даже я не так богат, чтобы часто пользоваться её милостью.

Новость неприятно царапнула Гришку за душу, и он поспешил к мосту через Язу, поднялся к Покровским воротам и зашёл в кабак, уже наполненный пока ещё тихими с похмелья трясущимися питухами. Целовальник сразу углядел в нём птицу нездешнего полёта и мигнул слуге, чтобы тот провёл гостя в чистую комнату. Гришка попросил себе вина и попытался обдумать то, что с ним вчера случилось, но всё застила ему Сельма, которая так жгуче впечаталась в память, что и сейчас стояла в глазах как живая. Блуме открыл Котошихину, кем на самом деле является эта сладкая немочка, но купец не знал настоящих продажных баб, которые с утра и до вечера стоят с натёртыми свёклой щеками и с медным колечком во рту на торге возле Кремлёвской стены, а вот Гришке доводилось покупать за полушку их торопливые, вонявшие скотным двором тела и использовать их в прокисшей подвальной дыре на куче грязных ремков, и после мучительного содрогания, поддерживая руками штаны, мучаясь отвращением, поспешать вон, чтобы глотнуть свежего воздуха и поскорее смыть вонючую накипь во рту зеленым вином.

«Нет, Сельма не чета нашим срамным девкам, – подумал Гришка. – Хотя и она дарит ласки за деньги, но как!»

Котошихин видел Европу мельком, но она его поразила одним, чего на Руси никогда не бывало, – своей чистотой. Тем она нас и берёт за горло, подумывал посольский подьячий, что всё в ней делается чисто и вовремя. Пока мы топчемся в своей грязи, она уходит от нас вперёд невесть куда; одно время, казалось, мы заскочили ей на запятки, но вряд ли. Конечно, Европа корыстолюбива, но и она, как Сельма: дорого взяла, да зато такими затейливыми ласками обиходила, а как она чиста, наши бабы промеж ног ветошью подтираются, а у Сельмы под юбкой штанцы из шёлка благоухают, как борода соборного протопопа, розовыми благовониями, и под ногтями чисто, и в ушах, а уж что до того самого, то после неё, как после качелей, уже и голова кругом идёт, а всё опять взгромоздиться на них подмывает. Подле столь горячих воспоминаний Гришка засопел и, позвав служку, велел принести ему большую чарку вина, осушил её, расплатился и вышел вон.

- 2 -

В один из июньских дней 1663 года дьяк Алмаз Иванов, вернувшись из государевых палат в Посольский приказ, без промедления вызвал к себе дьяка Дохтурова, под началом которого в числе других был и шведский стол.

– Ты не запомнил, Герасим Семёнович, как два месяца назад из Пскова прибежал гонец и доложил, что к ним явился шведский посол Адольф Эберс, предъявил свою полную грамоту о назначении его комиссаром шведского подворья на Москве? – сказал думный дьяк, проглядывая лежащую перед ним на столе толстую посольскую книгу.

– Я держу в памяти приход шведов, – доложил Дохтуров. – А что, они уже близко?

– Ещё как близко, – вздохнул Алмаз, огорчённый неизбежной доукой, какую вот-вот доставят вместе с собой шведы. – Они явились, чтобы установить, сколько денег получают по Кардисскому миру. Я помню, как намучился с ними в Стокгольме, когда спорил, сколько им дать за корелу и ижору, кои перебежали от них к нам в Россию. Вот, велел поднять договорную грамоту за 1649 год, – дьяк надел очки и заелозил пальцем по странице раскрытой книги. – Сам писал, не доверил писчику листовое письмо. Вот и запись – сто девяносто тысяч рублей за утекших на нашу сторону шведских крестьянишек.

– Стало быть, великий государь, памятуя твою стокгольмскую службу, поволит тебя поставить главным переговорщиком со шведами? – спросил Дохтуров.

– Что у него, думных людей не стало? – удивился Алмаз. – Есть и помоложе меня, кто рвётся поспорить с Эберсом, который жил уже на Москве целых три года полномочным представителем шведского короля.

– Не ко времени шведы явились, – проворчал Дохтуров. – Толмач Юргенс стал совсем плох, а кем его заменить? Второй толмач застрял с гонцом Леонтьевым в Швеции. Не брать же толмача из кукуйских немцев?

– Помнится, Эберс по-нашему уже начинал кумекать, – задумчиво промолвил Алмаз. – Котошихин тоже вроде бормочет по-свейски. Пока доброго толмача не сыщем, они друг друга поймут. А ты сейчас же съезди к Юргенсу, может, он не при смерти, а пьян в стельку валяется, так встряхни его, пусть опамятуется.

Алмаз повернулся к оконцу в стене, за которым виднелась голова его ближнего подьячего:

– Ферাপонт! Зови Котошихина.

– Эберс мне известен по переговорам в Кар-

диссе, – сказал Дохтуров. – Тогда от имени своего короля он написал много наказов своим посланам и немало нам попортил крови.

– Я и сам его таким знаю, – согласился думный дьяк, задумчиво глядя на склонённую в рабьем поклоне спину Котошихина. – А ты, Гришка, что ведаешь про шведа Эберса?

Душа подьячего чуть не оборвалась со страха с той нитки, на которую её подвесил Господь, и он похолодел в ожидании, что сейчас Алмаз объявит, что ему ведомо об его встрече с Эберсом в Стокгольме.

– Знаю, что есть такой советник у шведского короля, – запинаясь, промолвил Котошихин.

– Завтра ты его увидишь, – сказал Алмаз. – У нас незадача вышла с Юргенсом, и тебе придётся толмачить при въезде шведов в Москву. Как, справишься?

У Котошихина отлегло от сердца, он взвеселился и бодро потрянул головой:

– Слова я не позабыл, а вот говорить по-свейски приходилось редко.

– А ты сегодня встряхнись, проговори все слова, что помнишь, а тем временем Дохтуров проведает Юргенса, сдаётся мне, что толмача надо лечить батогами, а то он точно отдаст Богу душу, упившись хмельного.

Думный дьяк велел Дохтурову и Котошихину оглядеть посольское подворье и определить палаты, в которых будет жить Эберс со своими людьми, назначил двух приставов для встречи посольства, подписал подготовленные ими требования в Конюшенный приказ о выделении добрых лошадей и кареты для посла, в Стрелецкий приказ – о выставлении стрельцов вдоль улицы, по которой посольство будет проезжать к Кремлю, в Дворцовый приказ – о выделении мясных, рыбных, хлебных и прочих припасов для прокорма шведов на все дни, пока они будут пребывать в Москве. Шведское посольство из-за его невысокого статуса встречали по малому чину встреч представителей иностранных государств. Эберс приехал закончить уже решённое дело, и почёт, оказываемый ему, был, соответственно, невелик.

Едва Дохтуров и Котошихин вышли от начальника приказа, как встретили стольника Прончищева, которому великий государь поручил приветствовать от своего имени шведов, согласно посольскому чину ввести их в приёмную палату, где должна состояться встреча с царём и вознесение подарков царскому величеству.

Прончищев был прост в общении и со своими соратниками в сражениях со шведами по заключению мирного договора в Кардиссе не чинился:

– Опять придётся обороняться от шведов, но уже близ Москвы. Как, Герасим Семёнович, устоим?

– Вот если Гришка подопрёт нас своим плечом, то выдюжим, – улыбнулся Дохтуров. – Он назавтра наш толмач, на него вся надежда, Иван Афанасьевич.

– Это почему же? – удивился стольник.

– Сыпанет шведам матерно по-ихнему, они сразу и руки в гору поднимут. Гришка наперёд весь русский мат на их язык перевёл и со шведской матерщиной перемешал, вот такой у нас знатный толмач, Иван Афанасьевич.

– Зря так говорите, Герасим Семёнович, – обиженно сказал Котошихин. – У шведов матерных слов и в заводе нет.

– Как же они обходятся? – удивился Прончищев. – Что, и срамные места не называют, а только пальцем на них указывают?

– У них всему есть своё имя, но срамным они перед лицом друг друга не размахивают, – сказал Котошихин. – Но я слышан, что Эберс так хорошо говорит по-русски, что толмач ему не нужен.

– Вот завтра об этом и узнаем, – сказал Прончищев.

В Москве до Алексея Михайловича иноземные послы постоянно не живали, при приезде на какой-то срок им давали для житья подворье какого-нибудь архиерея или другие подходящие помещения, но недавно в Китай-городе было выстроено большое каменное подворье, которое почти не пустовало, совсем недавно его населяло царское посольство Майерберга, чуть раньше жили датчане с посланником Ольделандом. Иноземцы были не очень довольны умением русских зодчих, постанывали, что в покоях ветрено и холодно, отхожие места нечисты и в них можно провалиться; по ночам на спящих сыпались с потолка клопы, но они терпели неудобства, понимая, что московское гостеприимство дорогого стоит и без русского царя в Европе трудно прийти к общему согласию.

- 3 -

Шведское посольство, предупреждённое о встрече с царём, с утра было на ногах. Немцы мылись, брились, подравнивали волосы, подвивали усы, вытрясали одежду от дорожной пыли, начищали на ней медные пуговицы и пряжки, обихаживали сапожными щётками обувь, оглядывали свои шляпы, на которых по случаю торжественного прихода к царю заменяли старые, истрепавшиеся в дороге петушиные перья на дру-

гие, ещё ненашенные. Московские удобства не способствовали скорому завершению приведения посольства в требуемый для представления великому государю порядок, и Адольф Эберс кое на кого прикрикнул, чтобы они не копошились, излишне не выряжались, а поспешали, ибо сейчас явятся приставы со своим уставом и поблажки никому не дадут.

Сам Эберс обладал счастливой способностью выглядеть достойно и пригоже во всякой обстановке. Ему недавно исполнилось сорок лет, он был высокого, как все шведы, роста и всех производил впечатление прямодушного викинга, и это было чистой правдой по отношению к своим; славян – и русских, и ляхов, Эберс презирал, полагая, что по отношению к ним возможна любая подлость, если только она послужит на пользу шведскому Великодержавию.

Пять лет назад он покинул Москву, где три года был резидентом, за это время швед достаточно хорошо для иноземца узнал Россию, но ни уважения, ни любви у него к ней не прибавилось, и больше всего он был огорчён тем, что так и не имел тайного доступа в Посольский приказ через своего лазутчика, хотя совершал в этом направлении подходы, присматривался к подьячим, переводчикам и толмачам, но сделать кому-нибудь предложение так и не решился.

Россия заключила в Кардиссе мирный договор со Швецией, но выглядел он как поражение. Шведам были уступлены земли, города и дано согласие на выплату денег, которую правильнее было бы назвать контрибуцией. В Кардиссе русские согласились на эту уступку скрепя сердце, два года тянули с открытием переговоров по этому вопросу, спорили о месте, где провести съезд послов, наконец шведы приперли русских к стенке: явились в Москву с довольно строгой грамотой своего короля, после чего великий государь был вынужден назначить своего переговорщика.

Однако, как ни торопились шведы прибрататься к появлению на Посольском дворе приставов, они явились, да не одни, а привели с собой двенадцать всадников на белоснежных конях, в дорогой сбруе, привели коней той же масти для шведов, а для посла была привезена дорогая своим узорочьем карета, запряженная также двумя белоснежными лошадьми.

Приставы велеречиво поприветствовали посла, справились о его здоровье, нет ли у него жалоб на русское гостеприимство, на что Эберс отвечал цветистой благодарностью за проявленную к нему и к его людям заботу.

– Мы должны спросить твоё швейское превосходительство, – важно сказал Жидовинов, – послал ли его величество король швейский подарки великому государю?

– На этот раз, – ласково улыбнувшись, ответил Эберс, – шведский посол преподнесёт великому государю подарки от себя лично.

– Не изволит ли господин посол явить свои подарки государевым приставам?

– Мурес! – позвал Эберс своего помощника. – Подарки готовы?

Тут же был вынут из укладок и открыт каждый ящик, в котором, завёрнутые в ткань, находились подарки, их освободили и показали приставам, те их оглядели и скусились, уже давно царскому величеству не подносили столь скудные дары.

Чтобы избавиться от возникшей неловкости, Жидовинов попросил посла садиться в карету, а его сопровождению – на коней. Началась небольшая предотъездная сумятица, но скоро все заняли свои места, и торжественная процессия вышла из ворот Посольского двора. Впереди следовали двенадцать красиво убранных всадников, за ними Мурес, исполнявший обязанности гофмейстера посольства, далее следовал секретарь посольства с верительной грамотой шведского королевского величества.

Перед каретой посла несли подарки: зеркало в красивой чёрной раме, два серебряных с позолотой кувшина и большой золочёный бокал. За подарками ехал посол, впереди его находился на облучке толмач Юргенс, а лошадей вели два назначенных для этого человека в дорогих кафтанах и шапках. Кремль был рядом, и, перейдя через мост, посольство вступило на площадь, окружённую с трёх сторон государевым дворцом и домами знатнейших бояр. Вдоль пути, по которому следовало посольство, были расставлены двойным строем стрельцы государева Стремяного приказа, одетые по левой стороне в жёлтые, по правой стороне – зелёные кафтаны, с мушкетами в руках. Эберс пригляделся: мушкеты были ему знакомой швейской работы, а стрельцы все молодые и здоровые, с румянцем в обе щеки, парни. А вот это было шведу не в радость: Россия была относительно многолюдна, тогда как свеев насчитывалось менее миллиона, но держали они под собой всё побережье Балтийского моря.

Не доезжая царского дворца, посольский поезд остановился, шведы спешили, посол вышел из кареты, чуть позади его остановился толмач Юргенс, на царском крыльце показались и стали спускаться с него стольник Прончищев и думный дьяк Алмаз Иванов. Юргенс подсказал

послу, что следует идти к крыльцу, на ступеньках государевы и посольские люди сошлись, и Адольфу Эберсу пришлось пережить несколько неприятных мгновений, поскольку он, выслушивая приветствия думного дворянина, находился глазами на уровне средней пуговицы его кафтана, чем допустил явную поруху чести шведского короля. Он едва утерпел достоять до конца произнесения титула великого государя, но всё когда-нибудь да заканчивается, и посла, оставившего свою шпагу, с несколькими людьми его свиты ввели в приёмную палату, которая оказалась довольно мрачной на вид, всего с двумя небольшими окнами комнатой, столь обильно убранной прекрасными персидскими коврами, что они были в ней везде, кроме потолка, разрисованного золотыми цветами и яблоками.

В палате по правую сторону от дверей сидели десятка два бояр в парадной одежде, а за ними стояли человек пятьдесят в золочёных кафтанах из казны, все с непокрытыми головами. Эберс видел великого государя вблизи всего несколько раз и с любопытством, но неназойливо, к нему присматривался. Алексей Михайлович восседал на серебряном троне, на верхней части спинки которого был изображён двуглавый орел. На голове у царя была шапка из серебряной ткани, отороченная собольей каймой и увенчанная маленькой коронкой. Верхняя одежда великого государя тоже была из серебряной ткани, а в руке он держал серебряный скипетр, а рядом с тронном на серебряной подставке находилось царское яблоко – золотой шар с крестом наверху, сиречь держава.

Впереди царя, по двое с каждой стороны, стояли статные витязи в прекрасных белых, отделанных мехом горностае, одеждах, имевшие в руках откиннутые на плечо топоры с широким лезвием и заметно важничавшие своей к великому государю близостью. По правую руку от царя стоял его тесть Илья Данилович Милославский, а по левую – свояк царя Борис Иванович Морозов. Сих могущественных царедворцев Эберс в свою прежнюю бытность в Москве почтил посулом не ради выгоды, а для знакомства, и они его приняли с небрежностью природных властителей.

Когда все придворные и посольские люди заняли положенные им места, стольник Прончищев сделал знак послу начать своё выступление, и все затаили дыхание, придирчиво наблюдая, как Эберс правит поклон великому государю, который во время произнесения титула королевского величества встал, а Милославский снял с него шапку. С обнажённой головой царь спросил о королевском

здоровье, затем Эберс подал королевскую верительную грамоту, которую принял боярин Морозов и сразу же отдал думному дьяку Алмазу для внимательного её прочтения и подготовки ответа послу от царского величества.

Представление подарков было для Алексея Михайловича самой интересной частью посольского приёма, и он принимал подарки всегда сам, с любопытством разглядывая всякие хитрые немецкие вещицы, не исключая и заводных кукол, наряженных рыцарями и дамами, к коим особое пристрастие имела царица Мария Ильинична. Подарки шведского посла не развеселили великого государя, но и не огорчили. Он поднял золочёный бокал, заглянул в него и промолвил:

– Добрая посудина, из неё можно и квас пить, и уху хлебать.

Эберс понял это замечание как одобрение его подношению и, встав со скамьи, на которую его только что усадил Алексей Михайлович, стал благодарить царя за оказанную ему честь.

Улучив момент, Иван Афанасьевич Прончищев, наскучив стоять молча и без дела, громогласно объявил, что великий государь и царь жалуется на вечер сего дня посла и его людей кушаньями от своего стола, а теперь допускает его к своей руке. Эберс уже раз совершал этот обряд и остался от него не в восторге, но исполнение его было обязательным, и он с постной физиономией приблизился и поцеловал пухлую и влажную руку великого государя, а тот тотчас сполоснул свою длань в серебряном ведре и утёр полотенцем.

- 4 -

— Что за бумага у тебя в приказе, Алмаз? — спросил Алексей Михайлович, разглядывая на просвет начало столбца, который только что взял со стола. — Она же у тебя из торговых рядов. Я ведь год тому назад велел, чтобы на посольские дела брали бумагу не с торгового, а из Казённого приказа, тогда почему так?

— Ты повелел, великий государь, подать тебе черновую запись наказа окольничему Волынскому на его съезд с Эберсом, — объяснил думный дьяк. — Такие записи в приказе делаются на торговой бумаге, кою закупили ещё до твоего повеления брать её в Казённом приказе. А чистовое письмо делается на лучшей бумаге. Позволь мне удалиться и переписать наказ на твоей бумаге.

— Стой здесь, — сказал Алексей Михайлович. — Для черновой записи и эта бумага слишком хороша. За бережливость хвалю... Вот все бы так, Фё-

дор, пеклись о государственной пользе, тогда бы мы не были нищи, как сейчас.

Окольничий Ртищев, оставшийся в Кремле после участия вместе с царём в литургии в Благовещенском соборе, согласно кивнул:

— Бережливость у нас никогда в чести не бывала, а нам следовало бы этому поучиться, хотя бы у шведов. Там ни одну соломинку без дела по ветру не пустят, у них всё идёт в дело на свою и общую пользу.

— Знал бы, Фёдор, что ты опять начнёшь меня огорчать своей правотой, то оставил бы в храме беседовать с протопопом, — обидчиво промолвил великий государь. — Чего ни коснись, и всюду нам Европу выставляют в укор. А так ли она хороша? Что, там не переводят добро на дерьмо? Ужели там нагибаются за каждым упавшим с воза зёрнышком или клочком сена?

— Ты не поверишь, великий государь, но в Швеции так оно и есть, — сказал окольничий. — Шведы придумали себе заповедь Божию: быть во всём бережливыми, ибо в Библии сказано, что нельзя терять дары Божии.

— Это лютеранские бредни! — загорячился Алексей Михайлович. — Лютеране по-приятельски толкуют с Богом, забыв, что между ним и людьми есть Спаситель, явивший заповеди Божьи, а он совет со шведами не держал.

— Всё так, как ты изволил молвить, великий государь, — сказал Ртищев. — И, тем не менее, кукуйский пастор Соломон Фриче на каждой службе в кирхе возглашает, что тот, кто не съедает салаку с костями, должен считаться согрешившим против Бога.

— Хорош проповедник! — удивленно вымолвил Алексей Михайлович и обратился к думному дьяку. — А ты, Алмаз, как смотришь на то, что шведы в своей бережливости дошли до поедания рыбы с костями!

— Спокойно смотрю, великий государь, — сказал думный дьяк. — Я ещё когда ездил в Стокгольм договариваться о долге за корелов-перебежчиков, узнал, что у них обычай всё, что дадено, съедать без остатка. А недоеденное заставляют съедать утром.

— А вот это добрый обычай! — оживлённо молвил Алексей Михайлович. — Тут у шведов есть что перенять. Каждый день метельщики с торгового объедков наметают, а после пиров сколько всего остается? Но что делать? Я — великий государь — и не могу повелеть, чтобы на пиру всего наготовили в меру. Слабость человеческая мешает, боюсь, что меня осудит людское мнение. А ведь если бережливость начать заводить на Руси, то

государю надо начинать с себя и своего ближнего окружения. Тогда и дворянство за ним последует, и купечество. А так все мы моты, а я больше всех: шутка ли, по миллиону рублей в год разбираю, а скорее всего, и больше.

– Твоя правда, великий государь, бережливости у нас мало, – огорченно вздохнул Ртищев. – Но любых шведов бережливее твои крестьянишки. Пожил бы, хоть год, самый терпеливый швед такой жизнью, как живёт на Руси мужик, то я не знаю, что от него осталось бы.

– Наш мужик не так уж и плохо живёт, – остановил своего ближнего человека Алексей Михайлович. – Речь о другом: ужели шведы через своё бережливое достигли Великодержавия?

– Как бы не так, – сказал Алмаз. – Ордин-Нащёкин прав: шведы стравливают нас с ляхами и того, кто ослабнет, бьют. А потом деньги с него требуют, так и живут нашей глупостью.

– Нет, этого они не сами достигли, – значительно вымолвил великий государь. – Это им лукавый помог возвыситься за то, что они отвернулись от заповедей Спасителя в сторону скаредности и сверзились в лютеранство. Вот теперь мы оказались им должны. А почему? Потому что ослабели от многолетней войны. Да и с медными деньгами обмишулились.

Алексей Михайлович, произнеся последние слова, бросил укоризненный взгляд на Ртищева, и тот потупился. Но для дьяка Алмаза на первом месте было не обесценивание денег, а посольское дело, и он не дал вниманию царя отклониться в сторону.

– Переговоры Ордин-Нащёкина во Львове с поляками закончились неудачей. Ляхи на мир не пошли, они всё ещё питают надежду вернуть себе и Малороссию, и Смоленск, заигрывают с османами, а те насылают на наши южные уезды крымских татар. Но мы можем использовать встречи Афанасия Лаврентьевича с королем Казимиром в свою пользу.

– Это каким образом? – печально сказал Алексей Михайлович. – Наша неудача шведов обрадовала, и теперь их запросы к нам возрастут.

– Есть, великий государь, задумка пустить среди наших немцев слух, что Ордин-Нащёкин только сделал вид, что не поладил с ляхами, а сам с ними обо всём столковался, и на будущий год назначен съезд русских и польских послов, где и будет подписан вечный мир. Когда Эберс об этом проведаёт, то даст знать в Стокгольм, и там задумаются, стоит ли на нас наседавать с требованиями денег.

– Ты думаешь, нам удастся задурить этим шве-

дов? – засомневался Алексей Михайлович. – У них среди поляков много осведомителей, и они сразу раскусят нашу затею.

– Раскусят, да не совсем, – твёрдо сказал думный дьяк. – Канцлера точно начнут одолевать сомнения: а вдруг русские с поляками и впрямь замирятся. А слух надо пустить не только среди наших немцев, но и среди тех, кто на Москве проездом, те быстрее донесут до Стокгольма, что Россия и Польша возмечтали объединиться против шведского Великодержавия. Пусть князь Хованский начнет говорить это прилюдно, ему, думаю, шведы поверят.

– Ещё как поверят, – смутился великий государь, – когда я сам его прилюдно дураком назвал, о чём сейчас раскаиваюсь.

– Не печалься о сем, великий государь, – сказал Ртищев. – Хованскому, кроме тебя, некому было объявить, что он дурак, а от тебя он узнал о себе полную правду.

– Поговори, Алмаз, от моего имени с князем или с кем другим, кого выберешь. Но если кто откажется участвовать во вранье, ты его не неволь. Я в этом греховном деле понуждать никого не буду.

– Тогда позволь перебелить наказ окольному Волинскому, – сказал Алмаз. – Он рвётся в схватку. И скажи, сколько денег он может обещать Эберсу?

– Ты его, Алмаз, держи на коротком поводке, – решил Алексей Михайлович. – И не спускай на шведа, пока он весь наказ не выучит назубок. А сколько денег можно дать шведам, я ещё и сам не знаю. Правильнее было бы их совсем не давать, но раз обещали, надо платить, только вот беда: кошель-то у меня пуст.

Думный дьяк взял черновик наказа с правками царя со стола, поклонился и вышел из комнаты, за ним засобирился уходить Ртищев, но царь его задержал:

– Останься, Фёдор, – царь прошёлся взад-вперёд по комнате, остановился и мягко глянул на окольного. – Тебе последний год не часто икалось?.. До чего бывает порой глупа людская молва, да и существует ли умное народное мнение?.. Что скажешь?

– У народа есть своя правда, по ней он живёт и по ней обо всем судит. А хороша ли эта правда, умна ли, про то ведаёт только Бог.

– А тебе известно, Фёдор, что люди тебя винят в своих бедах?

– Меня? – поразился Ртищев.

– Они уверены, что это ты подбил меня на чеканку медных денег вместо серебряных. А ведь в этом народном мнении нет ни на грош правды.

Если в чём ты и виноват, так в том, что не остановил меня, когда я повелел закрыть серебряный денежный двор и оставил одни медные деньги.

– Я на людей не в обиде, – сказал Ртищев. – Они часто не ведают, что творят. Пусть меня винят, лишь бы от этого им было легче. Сейчас надо не о старом думать, а как от шведских запросов отбиться.

И действительно, от претензий Швеции к России можно было только отбиваться, потому что денежное дело находилось почти в безысходном положении. Начало упадку было положено в 1655 году, когда после двух лет победоносной войны с Польшей, потребовавшей напряжения всех сил государства, вдруг выяснилось, что ратным людям платить стало нечем, и тогда в какой-то уверенности, что Речь Посполитая будет скоро разгромлена и возместит все убытки России, было принято решение, в котором впоследствии обвиняли Ртищева, закрыть денежный серебряный двор и начать чеканить деньги с тем же номиналом, но уже медные. Поначалу ничто не предвещало беды, русские уже долгое время пользовались деньгами, которые не имели правильного соотношения веса монеты и отчеканенной на ней стоимости. Эта привычка пользоваться монетами как кредитками, то есть изобретенными только через сто лет бумажными деньгами, долгое время поддерживала устойчивость денежного рынка. Гарантией надёжности денег был авторитет русского самодержца, но вскоре нашлись люди, которые увидели в разнице цены на серебро и медь возможность неслышанно обогатиться.

Денежные мастера, доселе бывшие людьми среднего достатка, вдруг разбогатели, раздели жён по-боярски и брали товары в рядах не торгуясь. Падкими на бессовестную наживу оказались даже известные московские гости, приставленные надсмотрщиками медного дела. Разница в стоимости медных и серебряных денег быстро росла, и к 1663 году медь стала дешевле серебра в двенадцать раз, что вызвало бешеный рост на товары первой необходимости и привело к возмущению, а затем к бунту московского простонародья.

В июле 1662 года, когда царь жил в подмосковном селе Коломенское, мятежная толпа подступила к Алексею Михайловичу и потребовала от него учинить суд над виновниками народного оприщания. Страсти скоро накалились, и государь крикнул стрельцам, которые кинулись на людей, и началось повальное избиение и виновных, и любопытных, кои пристали к бунтовщикам случайно. Свирепый розыск по этому делу закончился казнью нескольких тысяч человек, но денеж-

ную систему страны это не спасло, и в середине июля 1663 года, как раз в то время, когда в Москве появился шведский посол Эберс, царь своим указом повелел денежные медные дворы в Москве, Новгороде и Пскове отставить, а в Москве открыть серебряный денежный двор. Однако привести в порядок русские финансы могло только прекращение войны с Польшей и ликвидация угрозы со стороны Швеции. Умиротворить последнюю могло только соглашение о выплате компенсационных сумм, величину которых надо было определить в ходе переговоров.

– Будем предлагать шведам взять от нас рожь, ячмень, пеньку, можно часть деньгами отдать, но войны допустить нельзя, – сказал Алексей Михайлович, провожая окольного. – А ты, Фёдор, позови Эберса к себе в гости. Он, говорят, знающий человек и от ромanei не отказывается. И по гостям любит бывать.

– 5 –

Пламя свечи в железном светце запомаргивало, и Гришка, торопливо дописав строку, бросил перо в лыковый короб для мусора, который всегда оставался после писчей работы. В окне было беспроглядно темно, и он заторопился. Уже почти все служилые люди разбежались по домам, и уходить последним считалось в приказе почему-то плохой приметой. Гришка взял в руку однорядку, надел шапку и загасил свечной огарок. В длинном коридоре все двери комнат были притворены и лишь из одной пробивался блеклый свет. Гришка заглянул в комнату: боком к двери на узкой и короткой скамье сидел и поскрипывал пером по бумаге Савка, писчик, так и не выбившийся из-за неумеренного питья хмельного в подъячие и служивший в приказе лишь по милости дьяка Алмаза, которому он приходился по жене дальним-предальним родственником.

Пользуясь малолюдьем и тем, что улица свободна от возов и всадников, Котошихин скорым шагом спешил к сторожевой заставе, чтобы через неё пройти к своему дому, но, видимо, сегодня ему было не суждено спать на своей лавке. Дорогу перегородил человек в длинном, до пят, балахоне и схватил Гришку за рукав однорядки. Котошихин встал как вкопанный и обезножел от страха.

– Не трясись! – услышал он голос с немецким выговором и, приглядевшись, узнал приказчика Якова Блуме. – Тебе кланяется хозяин и просит в гости.

– Когда прийти? – спросил Гришка осевшим от пережитого испуга голосом.

– Когда как не сейчас, – ухмыльнулся приказчик. – У хозяина и стол накрыт, и гости созваны, вот тебя только нет.

– Может, я завтра к нему явлюсь? – сказал Котошихин, чувствуя, как ноги сами понесли его вслед за немцем.

«Ведь я как-нибудь в этом проклятом Кукуе пропаду совсем», – ощущая в душе нарастающий порыв отчаяния, подумал он, влезая в закрытую со всех сторон карету.

Колёса некоторое время постукивали на бревновом настиле улицы, вскоре карету стало потряхивать на ухабах, затем она пошла, покачиваясь, по наплавному мосту, и Гришка перестал ози­раться по сторонам и оглядываться. С лёгкостью, присущей почти каждому русскому человеку, он подумал, что страхи, вспыхнувшие в нём, пусты и всё обойдётся самым лучшим образом. «А что, если немец, – возмечтал Гришка о безвозвратно утраченном, – подманит для меня Сельму...»

Возле дома Блуме приказчик первым вышел из кареты, проглядел и прослушал улицу, затем подхватил за рукав Гришку и быстро повлёк его за собой во двор. Громадный чёрный пес молча к ним кинулся и сразу отскочил в сторону, Гришка не успел его напугаться и страх почувствовал уже на крыльце.

Приказчик подтолкнул Котошихина в прихожую, он перешагнул порог и тотчас столкнулся с Блуме, который распахнул свои объятия и кинулся обниматься.

– Не могу и сказать, Григорий, как я рад тому, что ты откликнулся на мой зов! – сказал Блуме, провожая гостя в ярко освещённый зал, где стоял богатый стол, вокруг которого находились три стула.

– С чего мне отказываться? – сказал Гришка, гадая, для кого предназначен третий стул. – Мы не в обиде друг на друга.

– А я, признаться, если на кого и в обиде, так на думного дьяка Алмаза, – сказал Блуме, заботливо усаживая гостя за стол.

– За то, что Алмаз не внял предложению извести борзописца и печатника? – с лёгкой усмешкой осведомился Котошихин.

– Нет, за другое я обижен на дьяка: не видит он, что за человек у него под началом, держит в подьячих, когда ему давно пора побывать дьяком в посольстве или стать дьяком в самом приказе.

– О ком это ты, Яков, печёшься? – нервно хихикнул Гришка, который был на ласку падок, но без привычки к лести отвечал на неё грубоватым смущением.

– А кто из подьячих Соборное Уложение выучил? Кто к немецким языкам имеет пристрастие? Не ведаешь такого человека? Тогда испей, Григорий Карпович, доброго вина и подумай.

Немец на вино и закуску не поскупился, но одно блюдо сразу привлекло к себе Котошихина вкуснейшим запахом, и, опрокинув в рот чарку, он потянулся к нему двузубой вилкой.

– Бери, Григорий, и не ошибёшься: это колбаски по-берлински.

Котошихин, причмокивая от вкусности блюда, съел одну колбаску и, распробовав, отправил в рот ещё три штуки. Блуме за это время успел подлить и пригласить выпить своего гостя ещё две чарки водки и затем вернулся к прерванному разговору:

– Конечно, ты догадался, что хвалю я тебя и ты точно лучший подьячий в приказе, только дьяком тебе никогда не быть.

– Это почему же? – вскинулся Гришка, но под острым и насмешливым взглядом немца сник и потупился.

– Я никогда не понимал одну сторону русских порядков, – сказал Блуме и достал ящичек из полированного дерева с крышкой. – В Московии непостижимым образом сберегают дураков и лентяев, а первыми наказывают людей умных и знающих. Вот и того подьячего били палками, я думаю, не за то, что он допустил дурацкую описку, а за то, что он на две головы выше всех других в посольском приказе.

Блуме взял ключ и стал им что-то в ящике накручивать. Раздался негромкий щелчок, крышка приподнялась и открыла взору игрушечный зал, где находились близ друг друга дамы и кавалеры. Затем послышалась приятная слуху танцевальная музыка и куколки стали танцевать. Гришка, оглушённый словами немца, глядел на красивый кусочек чужой и недоступной ему жизни.

– Может, Яков, ты и прав, – сказал, отчётливо выговаривая каждое слово, Котошихин. – Моя беда в том, что я родился в России...

– Не надо, Григорий, о грустном! – воскликнул Блуме. – Как это говорят на Москве: за одного битого двух небитых дают? Так, да? Тебе надо узнать Европу, там другая жизнь, чем здесь, и ты только там сможешь обрести положение, равное своему уму и способностям.

– Кукуй чем не Европа? – усмехнулся Гришка. – А я здесь тайком бываю. А как я попаду хотя бы в Ревель, даже в Нарву?

– У тебя, Григорий, есть счастье завести себе надёжного и влиятельного покровителя, – сказал Блуме. – И сейчас он в Москве.

– Это господин Эберс, – догадался Котошихин.
– Разве он что-то сможет для меня сделать?

– Очень даже многое, – сказал, приблизившись к гостю и бережно взяв его за руку, обрадованный близостью удачной развязки разговора хитрый немец. – Господин Эберс обещает тебе свою поддержку, если тебе захочется в Европу, но и ты сделай ему добро, за которое он расплатится немецким серебром.

Гришка сглотнул сухой комок в горле и задыш-ливым шёпотом вымолвил:

– Что ему надо?

– Наказ великого государя окольному Во-лынскому на переговоры со шведами.

Гришка мотнул, как конь в жару, головой и потя-нулся к водке. Налив полную чарку, он опростал её одним резким движением и, шумно выдохнув, пробормотал:

– Это мне верная дорога на плаху.

– Что ты такое говоришь? Какая плаха? Ты на Москве полжизни прожил, так умей извернуться, не мне тебя учить.

Гришка, не отвечая, подошёл к игрушечному театру и наклонился, разглядывая фигурки.

– Конечно, дело тебе предстоит непростое, – сказал Блуме. – Но разве сейчас ты живёшь без страха, что во всякий миг за какую-нибудь безде-лицу тебя оголят и начнут бить до полусмерти, не жалея палок?

Котошихин оторвал взгляд от театральных фи-гурок и устремил его на немца. Тот смутился, приметив, что глаза гостя вспыхнули огоньками, а рот скривился в усмешку:

– Ты меня, Яков, попусту жалеешь, и я всё жду, когда ты заговоришь со мной по-купечески, – на Котошихина накатил дурашливый стих. – Эберс обещает поддержать меня, если я окажусь в Ев-ропе, пусть так. Дальше он обещает деньги – это самое коренное условие, но ты ведь знаешь, что я не могу без сладости, которую когда-то распро-бовал с твоей помощью. Но она теперь за спиной полковника Коля.

У Блуме отлегло от сердца, и он упрекнул себя за то, что ходил вокруг да около Котошихина, а московиту как быку нужна корова, так за этим де-ло не станет.

– Этот болван Коль тебе не помеха, – сказал Блуме. – Его царь отослал к солдатскому полку в Тулу, и Сельма готова к тому, чтобы ты её раз-веселил.

– Где она? – спросил Гришка и обвёл помутнев-шими глазами зал. Затем он приподнялся со сту-ла и вострепетавшими ноздрями шумно вобрал полную грудь воздуха.

На следующий день Блуме смог оторвать Гришку от Сельмы только близко к полудню. Лю-битель немецкой сладости за ночь спал с лица, потускнел, но глаза у него сыто поблескивали.

– Говори, как и что надо сделать? – сказал он, подбирая с пола разбросанные сапоги и натяги-вая их на ноги.

– Эберсу надо наказ Волинскому, но не список с него, а зарученный дьяком Алмазом. Это тебе, надеюсь, по силам? – Блуме требовательно гля-нул на Котошихина.

– Что ещё надо? – хрипло сказал Гришка, бе-рясь за ручку двери, чтобы её открыть.

– Наказ принесёшь ко мне, сразу как он попа-дёт тебе в руки.

– Добро, – сказал Гришка. – Жди, я с этим де-лом не задержусь.

Добрый лютеранин Блуме, проводив Гришку, пошёл в свои покои и, взяв молитвенник, вознёс хвалу Господу за помощь, кою тот оказал ему в опасном и хлопотном деле. Затем он велел при-казчику оседлать коня и, взбодрившись кофе, отправился на Посольский двор к шведскому послу.

Дьяк Алмаз еще не вернулся в приказ с заседа-ния Боярской думы, и опоздание Котошихина уг-лядел благоволивший к подьячему Дохтуров.

– Ты случаем вчера не служил бесову обедню кабаку? – спросил он, цепко вглядываясь в по-мятое лицо Котошихина.

– Хвораю ещё с вечера, Герасим Семёнович, – преданно глянул в глаза дьяка Гришка. – Знобит и голова кругом идёт.

Дохтуров приблизился к подьячему, повёл но-сом и проворчал:

– Нажрался чесноку.

– Мне бы отлежаться пару дней, и я бы выздо-ровел, – жалобно вымолвил Гришка.

– После смерти все належимся, и ты тоже, – дьяк был явно чем-то взбудоражен. – Я дьяку Ал-мазу про твою задержку с приходом в приказ не скажу, но ты ступай в казёнку и разыщи шведские отписки, в коих они подтверждают верное полу-чение от России хлебной помощи.

– Когда же это было? – наострил уши Гришка, у которого после разговора с Блуме появился обострённый интерес к любым делам, касаю-щимся Швеции.

– Кажется, началось это в тридцатом году и длилось лет десять, – сказал Дохтуров. – Прогля-ди всё как надо.

– Это ведь Волинский затребовал? – догадался Гришка.

– Ступай в подвал! – повысил голос Дохтуров. – Не твоего ума дело, кто затребовал. И помалкивай!

Коридор приказа был пуст, Котошихин остановился возле двери дьяка Алмаза и легонько потянул на себя. От её скрипа Гришка весь покрылся пупырышками озноба и, переведя дух, заглянул в комнату, отыскал глазами деревянную полку, на которой думный дьяк хранил бумаги посольств, действовавших в настоящее время. Увидел и наказ, исполненный им собственноручно для государевых нужд и заверенный подписью Алмаза Иванова.

Услышав скрип закрываемой двери, Котошихин уже не испугался, а злорадно подумал, что этот скрип слышат и бывавшие в приказе иноземные посольские люди и, возможно задаются вопросом, а каковы на самом деле порядки в русском царстве, если никому не придёт в голову сделать так, чтобы дверь в комнате начальника Посольского приказа не кряхтела и не повизгивала.

Это злорадство по поводу негожих русских порядков вспыхнуло в Котошихине не впервой. Его пытливый ум уже давно стал делать сравнения между тем, что было в Европе, и тем, что творилось в России. Поначалу он искал и находил оправдания русскому безурядью, затем, видя отсталость во всём и чванство перед иноземцами, Гришка начал подумывать, что судьба его крепко обидела, наградив столь негодным Отечеством. Вначале это были редкие и столь страшные мысли, что он от них прятался в храме, произнося слёзные слова покаяния. Затем, поскольку Бог ни разу не взглянул в Гришкину сторону, всё чаще стал ударяться в пьянство, и винопитие помогло ему со временем занять стойкое равнодушие к Отечеству, и он перестал горевать над русскими бедами, ибо не считал их своими.

Посему Яков Блуме крепко ошибался, считая, что одни только прелести Сельмы полностью затмили Гришке разум и ради мягкой и податливой девки он согласился исполнить просьбу Эберса. Котошихин был готов к этому уже давно, а с той поры, как попал под батоги и пришёл в ужас от бездны страха, которая разверзлась в этот миг перед ним, его душа стала повреждена на всю оставшуюся земную жизнь. И время от времени она начинала трепыхаться и обмирать, как будто находилась на краю бездонного обрыва, внизу под ней на непостижимой глубине клубится мрак, и неведомая сила тянула и подталкивала Гришку ринуться в пропасть, чтобы исчезнуть в ней навсегда. Спустя какое-то время этот ужас с неохотой покидал его душу, оставляя в ней память, как

она постанывала и поскуливала, предчувствуя свою близкую и неизбежную гибель.

– Бери буланую кобылу, – сказал он. – Она своей тени не боится.

До Покровских ворот Гришка ехал с оглядкой и с надвинутой на глаза шапкой, а на мосту через Язу его вдруг осенило, что он избежал великой беды: в любой момент его могли схватить ярыжки Приказа тайных дел, обшарить и с найденным свитком доставить к дьяку Башмакову и его подьячему Никифорову, на тёмной улице на него могла напасть воровская ватажка, стащить с коня, раздеть догола, а грамотку швырнуть на улицу, где её мог найти всякий прохожий. Гришка хотел благословить себя крестным знамением, что уберётся от несчастий, но не решился поднять руку.

Блуме ждал Гришку.

Он велел слуге увести лошадь, завёл гостя в свой кабинет, налил ему чарку романей и внимательно оглядел предъявленный ему на обозрение посольский наказ.

– Зря ты его обнюхиваешь, Яков, – лениво произнёс Гришка, вальяжно раскинувшийся в кресле хозяина. – Зри на обороте листа поручную запись дьяка Алмаза. Или что не так?

– Ты, Григорий, всё сделал как надо, но наказ должен увидеть Эберс.

– Так зови его, пусть смотрит, – сказал Котошихин. – До утра, я думаю, он сможет на него наглядеться, а потом я должен вернуть его в комнату думного дьяка.

– Нельзя ли наказ подержать подоле утра? – спросил Блуме. – Посол сейчас не может выехать в город без того, чтобы не доложиться приставам. Теперь их нет, да и ночь – не самое подходящее время для посольских прогулок.

– Вот, начинается волокита, – проворчал Котошихин. – У вас, немцев, всё должно делаться чётко, или вы все тут, на Москве, набрались русско-го безурядья?

Блуме не слышал подьяческого укора, он прохаживался по комнате, озабоченный опасным делом, Гришка на него попоглядывал, взял кувшин с романеей и наполнил серебряную чарку.

– Сделаем так, – решительно сказал Блуме. – Я извещу Эберса, чтобы он с утра явился на Кукуй, а ты будешь его ждать здесь.

– Я от тебя, Яков, не ожидал такой неблагодарности, – обиженно засопел Гришка.

– Ну что ж ты накуксился, – захопотал вокруг Котошихина немец. – Никто тебя твоего сахара не лишил. Вот, возьми это колечко и ступай к Сельме, она тебя поджидает.

Старший пристав Жидовинов, которому, ока-

зывая уважение к его летам, великий государь позволял сидеть в своём присутствии, с приездом шведского посла заимел приятную для себя обязанность каждое утро являться на Посольский двор и справляться у посла о его здоровье и нуждах, а Эберс каждый раз подносил приставу чарку романи, к коей тот имел вполне извинительную слабость. Делал это он по дороге в приказ, и в это утро Эберс встретил его как обычно, но собранным для выхода в город. Испив чарку хмельной немецкой сладости, Жидовинов с причмоком облизал губы и промолвил:

– Гляжу, твоё превосходительство готов покинуть подворье?

– Вчера купил ногайского коня, – сказал Эберс. – Сегодня хочу его испробовать.

– Ногайцы неказисты, но крепки в пути, – пристав внимательно глянул на посла. – И где тебя искать, коли появится в этом нужда?

– Я буду в Немецкой слободе, – сказал, уже сидя на коне, шведский посол. – А потом, возможно, прогуляюсь в Марьиной роще.

Московский суетный день уже начался, и Эберс, памятуя, что ему предстоит сегодня сделать, заспешил и, сопровождаемый драгуном из охраны посольства, выехал из ворот Посольского двора и помчался в Немецкую слободу, где его ждало известие, которое, возможно, определит успех всего посольства.

Купец Блуме провёл всю ночь в возбуждённом состоянии: он был весьма заинтересован в том, чтобы Эберс получил нужные ему сведения и донёс в Стокгольм, что к этому успеху причастен Блуме и его надо поощрить продажей большой партии мушкетов москвитам, где бы тайный агент выступил торговым посредником и возместил понесённые им в интересах королевского величества расходы.

Приказчик, стороживший приезд посла возле ворот, стукнул трижды в окно, и Блуме подхватился с кушетки, на которой одетым продремал всю беспокойную ночь.

– Беги к Крузе, – велел он приказчику. – Пусть оторвёт москвиту от Сельмы и притащит сюда.

– Опасное дело мы с тобой, Яков, затеяли, – сказал Эберс, сойдя с коня. – Будем надеяться, что наш бог нас не выдаст. У меня нет никакого желания знакомиться с московскими следователями и палачами. А где наш герой?

– Скоро будет, – искательно произнёс Блуме. – Надеюсь, господин посол доведёт до канцлера о том, что и я поспособствовал успеху его посольства?

– Ты, Яков, опоздал, – улыбнулся Эберс. – В

Стокгольме уже читают моё сообщение о приезде в Москву. Там есть и о твоих заслугах, разумеется, шифром, только для короля и канцлера.

Гришка по варварской московитской привычке не мог расстаться с Сельмой на коровьем реву без жарких объятий и сладких поцелуев. Крузе пришлось колотить в дверь весьма крепко и долго, пока Котошихин не выставил из неё всклокоченную бороду.

– Ты меня, Генрих, утомил! Дай хоть штаны надеть!

Наконец Гришка выпутался из любовной сети, коей был уловлен сладчайшей Сельмой, и, ополоснув лицо водой из бочки под яблоней, предстал перед шведским послом.

– Я рад, господин Котошихин, занять тебя в друзьях шведского короля, – важно заявил Эберс. – Твоя помощь нам послужит дружбе и сближению между нашими странами. Хочу тебя известить, что мои личные симпатии к тебе беспредельны.

– Благодарствую за уважение, господин Эберс, – смущённо произнёс Гришка и, запустив руку за пазуху, извлёк оттуда государев наказ на переговоры Волынского.

Хотя Эберс прижмурился, но было видно, как его глаза при виде грамоты радостно вспыхнули. Он стал медленно разворачивать свиток и вычитывать строку за строкой.

– Я старался, но если где непонятно, это объясню, – подсуетился Котошихин, пребывавший в великом счастье, оттого что угодил шведу.

– Русская грамота весьма трудна, – не поднимая от наказа головы, сказал Эберс. – Но за три года я таки её одолел.

– А я по-свейски совсем худо стал говорить, – сказал Котошихин.

Эберс это признание подъячего оставил без внимания: он дочитался до интересующего его места, взялся за перо и выписал из наказа несколько кусков текста. Затем ещё на один раз пробежал грамоту глазами и отдал Котошихину. Гришка её свернул, положил за пазуху и преданно глянул на шведа, который оценивающе на него поглядывал и наконец решил не давать ста рублей, кои намеревался вручить ему вчера, когда Блуме ожег его известием, что царский наказ у него в руках. «Хватит ему и сорока рублей, – решил Эберс. – Сто рублей его могут свести с ума и погубить, а москвиту нужно побережь, он мне ещё пригодится».

Посол рассчитался немецким серебром, почти пятьдесят ефимков отяготили запазуху Гришки, но этой платы расслабившемуся подъячему было мало.

– Ты что-то хочешь сказать? – спросил посол.
 – Мне бы хотелось, чтобы меня на Кукуе привечали, – смущённо промолвил Гришка.
 Эберс вопросительно глянул на Блуме.
 – Теперь ты, Гришка, богат, – развязно сказал немец. – Пока у тебя есть деньги, Сельма будет к тебе гостеприимна. Но не забывай про полковника Коля.

- 6 -

Подьячий Приказа тайных дел Никифоров имел серьёзную причину полагать, что судьба к нему в последнее время стала неблагоприятна: его уже дважды обнесли дьячеством, хотя он был у великого государя всегда на виду и Алексей Михайлович выделял его среди других своих слуг тем, что давал ему самые щекотливые и сложные поручения, которые Никифоров выполнял в срок, добиваясь тех результатов, какие были нужны великому государю. Однако не далее как месяц назад дьяком Разрядного приказа стал прослуживший менее его на государевой службе Степка Недогонов, и сгоряча Никифоров решил было с ним местничаться, но, к счастью, одумался и нашёл силы поглядеть на себя со стороны. Юрий Иванович был достаточно умён и трезво мыслящ, чтобы понять причину своего столь обидного для самолюбия невезения: он служил так рьяно и добросовестно, что заменить его было некем, и это прекрасно понимал великий государь, всегда указывающий дьяку Приказа тайных дел Башмакову, что, прежде чем поставить Юшку дьяком, надо подобрать на его место смышленного и борзого подьячего, и тут же прибавлял Никифорову на пять-десять рублей жалованья и срок-пятьдесят четвертей поместного оклада.

Эти дачи утишали самолюбивого подьячего, но успокоить его не могли, и он решил непременно так выделиться среди московского приказного поголовья, что царь будет вынужден поставить его дьяком, чтобы не уронить о себе мнение как о самом справедливом государе в глазах своих подданных. Никифоров хотел себя видеть дьяком Посольского приказа, потому всегда и кружил вокруг него, приглядываясь и приносиваясь ко всему, что там происходит. В мечтах у подьячего не было желания свергнуть Алмаза Иванова, это было невозможно и даже смертельно опасно ввиду того положения, которое занимал думный дьяк при царе. Но Посольский приказ был тем местом, вокруг которого часто возникали дела, привлекавшие внимание великого государя, и

Никифоров после бегства Войки Ордин-Нащёкина к немцам стал к посольским людям приглядываться, полагая, что среди них всегда найдётся выродок, готовый изменить своему отечеству.

На Котошихина свой розыскной глаз Никифоров положил потому, что Гришка был смышленнее других подьячих, имел беспокойный и пёстрый нрав, и, когда он попал под батоги, внимание к посольскому подьячему со стороны Юрия Ивановича заметно усилилось. Он стал с терпением опытного зверолова, расставившего силки, ждать, когда Гришка споткнётся и попадёт в уготованную ловушку, и затем останется только взять его за шиворот и швырнуть к ногам Алмаза со словами, что нужен особый дьяк, который присматривал бы за всеми людишками Посольского приказа, и он готов взять на себя эту заботу.

Котошихин постоянно жил на виду, но человек опасен не поступками, не словами, а тем, что он таит на уме, и Никифоров дал Прокофьеву деньги, чтобы тот подпоил Гришку и разведал, нет ли у него какого-нибудь преступного умысла. Однако прошло время, когда Мишка должен был явиться с донесением, но он канул как в воду, и Юрий Иванович решил его разыскать.

В приказе Мишки не оказалось, и пристав подсказал Никифорову, что в Немецкой слободе случилась между немцами драка, и подьячий отправился туда, чтобы разобраться в случившемся и донести об этом начальнику Посольского приказа. Срочных дел у Никифорова не было, и он, сев на коня, поспешил за Язу, поскольку людям из Приказа тайных дел всё, что случается на Москве, было интересно и доступно. Пьяные кровопролития между ратными иноземцами на Кукуе редкостью не были, но о каждом таком случае начальник Иноземного приказа боярин князь Юрий Ромодановский докладывал великому государю, а чтобы он не утаивал и не искажал правду, дьяк Башмаков со своей стороны доносил, как оно всё было на самом деле. Поэтому можно сказать, что Никифоров приехал на Кукуй по делу, как и Прокофьев, поскольку к Посольскому приказу были приписаны торговые немцы и в драке пострадал купец Крузе.

Никифоров встретил Прокофьева за Покровскими воротами и, спрыгнув с коня, схватил его за грудки и припечатал к забору. У Мишки враз ослабели коленки, и он повис пустым кулем на руках тайного подьячего.

– Ты знаешь, куда я отсюда смогу тебя забросить? – свистящим шёпотом спросил Никифоров.

– Юрий Иванович, пощади и помилуй! – взмолился Прокофьев.

– Я прямо отсюда тебя могу закинуть на Енисей как растратчика тайных государственных денег.

– Деньги целы, милостивец! – радостно вскричал Мишка. – Все двадцать алтын как одна копейка. Отпусти меня, и я тебе их верну.

– А почему ты их не пропил с Котошихиным, как я тебе велел?

– Гришка, милостивец, меня сторонится, но я его из виду не выпускаю. Вот и сегодня на Кукуе всех расспрашивал о нём.

– Ну и как? – Никифоров отпустил подьячего. – И много чего расспросил?

Иноземные ратные люди, свободные от службы, почти всё своё время проводили в местном питейном заведении. И дня не проходило, чтобы там не случилось между немцами мордобоя. И на этот раз после ромуса и пива сцепились майор Бем и подполковник Шенвиц, отъявленные драчуны и поединщики. Сначала они, сидя за разными столами, обменивались грозными взглядами, топорщили усы и побрякивали ножнами шпаг, но ромус, помноженный на пиво, явил перед соперниками приметы сладчайшей Сельмы, и соперники, забыв, что она уже законная супруга полковника Коля, стали переругиваться, сначала вроде бы нехотя, как вдруг опрокинули столы и кинулись друг на друга, но не по-немецки, со шпагами, а вполне по-русски, с кулаками.

Крузе, коему пивная принадлежала на паях с Блуме, принялся их урезонивать, но получил от каждого из соперников по затрещине. За сим Бем и Шенвиц согласились на поединок и разошлись.

– Что же здесь любопытного? – скривился Никифоров. – Милые бранятся – только тешатся.

– А вот нет! – торжественно возгласил Мишка. – Оная Сельма – великая сахарница на весь Кукуй. Но к ней сейчас не подойти: она жена полковника Коля. Однако я расспросил русских слуг и один из них обмолвился, что вокруг немки токует наш человек, по обличию подьячий.

– Он его знает? – навис над осведомителем Никифоров.

– Ни разу не видел в других местах. А здесь он пошныривает.

– Немецкая девка в золотой цене, – задумчиво промолвил Никифоров. – Раз из-за нее собачатся подполковник и майор, а она – полковница, то за свою сладость дорого запрашивает, такое подьячему не потянуть.

– Может, он переодетый боярин или московский гость? – сказал Мишка.

– Не знаю, не знаю, – всё так же задумчиво покачал головой Никифоров. – Всё может быть, но сдаётся мне, что тут людьми такого полёта и не

попахивает. Дорого станет за девку платить скорее не гость, а тот, кому деньги явились от воровства. С другой стороны, к ней так запросто не попадёшь, стало быть, к Сельме привёл этого русачка знакомый ей и ему немец. Вот такой раскладец мы имеем на сей час.

В это время мимо них, поднимая шум и пыль, проехала карета немецкой работы, в которой сидел и покачивался на подушке князь Ромодановский. За ним, отчихиваясь и отмахиваясь от пыли, поспешали немецкие офицеры на конях.

– Князь торопится взять буянов под стражу, пока они не проткнули друг друга шпагами, – сказал Прокофьев. – Может, спросить у дьяка Алмаза позволения взять немку и запереть её в подвал Посольского приказа? А потом со всей строгостью допросить, кто к ней шастает.

– А тебя, дурака, её сторожить поставить, – усмехнулся Никифоров. – Да ты её на закорках унесёшь из подвала в Немецкую слободу за то, что она даст себя погладить.

– У нас в подвале есть кому её сторожить и без меня, – обиделся Мишка.

– Девку брать под замок не за что, – объявил Никифоров. – Полковник Коль известен великому государю как добрый воин, он его в обиду не даст, если даже его Сельма приветит всех подьячих твоего приказа разом. А того, кто к ней ходит, надо найти во что бы то ни стало. Он может стать тем ключиком, коим можно будет открыть великое воровство.

Котошихин обо всём, что стряслось в Немецкой слободе, не ведал, как и о том, что подьячий Никифоров уже начал на него охоту, и попасть в его силки было делом времени или случая. Он яростно прогуливал с Сельмой полученные от Эберса деньги, был счастлив и даже не предполагал, что рубли скоро кончатся и, сведав об этом, его сладчайшая подруга поскучнеет и начнёт позёвывать в то время, когда от неё требовалось совсем другое. Гришка не понимал поначалу, отчего у неё появилась такая сухость там, где всегда было сыро и сладко, пока она не шепнула ему на ухо, что не может жить без бархатной повязки на голову, усеянной алмазной пылью и вышитой бурмитским зерном-жемчугом. Он клятвенно пообещал Сельме, что даст ей денег на исполнение ее мечты, и она окатила в ответ на его обещание такой опьяняющей волной сладости, что Гришка уже с утра стал думать, где ему раздобыть денег.

Дверь в комнату, где маялся от безделья Котошихин, была открыта, и мимо прошёл окольный Волынский. С некоторых пор Гришка стал интересоваться, зачем он приходит в приказ, потому

последовал за ним и, стоя у приоткрытой в комнату думного дьяка двери, услышал, как окольный пожаловался на неуступчивость Эберса.

– Поначалу он ждал, что я ему объявлю, а сейчас пропускает мои слова мимо ушей, будто всё заранее знает.

– Шведы большие охотники напустить на себя важность, – успокаивал посла Алмаз. – У тебя, Василий Семёнович, есть наказ великого государя, вот и следуй ему, никуда не сворачивая.

– Пора бы чем-нибудь шведа осадить, – сказал Волинский. – Уж очень он стал настырен в своих запросах.

– Ты думаешь, что надо напомнить Эберсу о хлебной помощи, которую получали от нас шведы?

– Самое время указать ему на это, – сказал Волинский. – Пусть подумает, как на это ответить.

– Добро, Василий Семёнович, – сказал Алмаз. – Великий государь позволил нам сказать об этом Эберсу, сообразуясь с ходом переговоров. Кажется, такой случай явился.

После подслушанного разговора Котошихин вспомнил, что он сохранил черновые записки, сделанные им для подготовки листа с перечислением случаев хлебной помощи для Волинского. За суетой вокруг Эберса и Сельмы он забыл, что верные деньги лежат в коробе для бумаг на пристенной полке и только ждут, чтобы он их взял и ублажил подарком свою слабость. Для этого нужно было спешно встретиться с Яковом Блуме, чей торговый амбар находился недалеко от Кремля, но Гришка туда никогда не заглядывал, чтобы не обнаружить своего знакомства с немцем. Однако для такого случая он решил рискнуть и, дождавшись обеденного перерыва, пошёл не в харчевню, а сказал, что решил прогуляться по торговым рядам, и какое-то время шёл мимо лавок, ларей, возов и верёвок со всякими на них товарами, затем сиганул за телегу с горшками, юркнул в проход между бочками и скрылся за углом дома.

Амбар Блуме был невелик, но крепок своими толстыми стенами из обожжённого красного кирпича, и помещителен глубоким подвалом, откуда вышел уже знакомый Котошихину приказчик и сказал, что купец отлучился по делам и будет на месте ближе к вечеру.

– Объяви Якову, что я у него буду к ночи в слободе, – сказал Гришка. – Пусть позовёт к себе Эберса, я сообщу важную новость.

Котошихин, крадучись, покинул амбар, успев заметить, что он битком набит всякими немецкими товарами, съел на торге горячий пирог с тре-

бухой, запил его медовым квасом и явился в приказ вместе с теми, кто был в харчевне. Стараясь не попадаться на глаза Дохтурову и Алмазу, он прошёл в свою комнату и застал там Прокофьева, который шарился на котошихинской полке. Увидев Гришку, он побледнел и пробормотал:

– Дьяку Юрьеву нужна опись дел, которые хранятся в казёнке, и он меня послал к тебе.

– Будет врать! – сначала испугался, затем обозлился Гришка. – Опись там, где и должна быть – у думного дьяка. Гляди, Мишка, как бы тебе не споткнуться на ровном месте.

Однако обыск не насторожил Котошихина, все дни после того, как он самым предательским путем передал государеву тайну шведскому послу, он пребывал в возбужденно-радостном состоянии, будто наелся мухомора. Вместо страха, что его разоблачат, будут пытать и подвергнут позорной казни, в нём обитало счастье, которое чувствует предатель, совершивший измену, поскольку своим злодеянием он освободил свою душу от тяготившего её замысла и она обрела желанную ей пустоту, где нет даже намека на присутствие Бога.

Осчастливленный душевной пустотой Котошихин сам перед собой возгордился и стал поглядывать на тех же подьячих как на никчемных людишек, которым не по силам совершить то, что удалось ему. Гришка в душе похотывал над Алмазом и Волинским, которые даже не догадывались, что подьячий, мелкая посольская мошка, смог так крепко уесть их исподтишка и до сих пор витает перед их очами, выискивая место для нового укуса, а они его в упор не видят.

Единственным, что отравляло Котошихину его торжество, была мысль о деньгах. Он только сейчас понял, что с наказом крепко продешевил, надо было взять со шведского посла сто рублей, судя по той радости, коя охватила Эберса при виде тайной грамоты, он был готов дать за неё половину своего посольства, а уж полтора ста рублей точно бы отсчитал и не дрогнул, но случай обогатиться по-настоящему был упущен, и Гришка дал себе слово, что на этот раз он не продешевит и порастрясет шведскую казну, не смущаясь своими запросами.

До вечера Котошихин занимался тем, что успешно уваливал от службы, а в сумерках устремился в Немецкую слободу. Там его ждал с распростёртыми объятиями Эберс, который с жадностью стал вычитывать записки о хлебной помощи, пока Блуме угощал подьячего польской выборовой водкой и балтийской селедкой любекского посла.

– Сегодня с утра в слободе случилась схватка между майором Бемом и подполковником Шенвицем, – сказал Блуме. – И удивительно, что на розыск прибежал подьячий Посольского приказа Прокофьев. А вот другое удивление стоило мне рубля, подаренного мной моему доброжелателю. Теперь угадай, Григорий, какую новость я купил за рубль?

– Я не знаток в ваших немецких делах, – небрежно промолвил Гришка, не отводивший взгляда от кармана шведского посла, из которого он уже получал наградные деньги.

– Моя новость, Григорий, не рубль стоит, а гораздо больше, – сказал Блуме.

– И что там у тебя, Яков, за новость? – поднял взгляд от бумаг Эберс. – Вот у меня новость так новость: оказывается, тридцать лет назад наше королевство на четверть жило русским хлебом, который получало от Москвы задаром. А у тебя что за весть?

– Прокофьев пронюхал, что у Сельмы бывает в гостях кто-то из русских.

– Всего-то и узнал! – нервно хихикнул Гришка. – Мишка давно за мной тропку топчет, да всё попусту.

Известие, что вокруг Котошихина начал кружить соглядатай, не на шутку встревожило Эберса.

– Тебе слободу надо забыть, – сказал он, доставая из кармана кошелек. – Вот тебе пять рублей за бумаги и на время забудь обо всём, что знаешь. Живи как жил раньше, будет нужда, я тебя отыщу.

– Жить, значит? – кисло скривился Котошихин. – На эти деньги? Тебе, господин Эберс, ведомо, сколько стоят бумаги на самом деле?

– В тайных делах не торгуются, – занервничал Эберс.

– Какая ж тут тайна, раз Мишка к ней стал принюхиваться.

– Хорошо! – сказал Эберс. – Какая сумма тебя устроит?

– Пятнадцать рублей.

– Хорошо, вот тебе десять рублей и во имя своего спасенья отойди от Сельмы, она тебя погубит: или под розыск подведёт, или сумасшедший полковник Коль проткнёт тебя своей шпагой.

– Мои дела с моей зазнойбой никого не касаются, – хмуро сказал Гришка, сгребая со стола деньги. – И никто мне не запретит наиграться с ней досыта в прощальную ночь.

– Ты, Григорий, хочешь во всём походить на немца, – пожал плечами Эберс. – Но куда девать твои московитские повадки?

Котошихин глянул пустым взглядом мимо

шведского посла и, не прощаясь, покинул дом Якова Блуме.

Пострадавший в утренней схватке между немецкими офицерами Генрих Крузе встретил Котошихина крайне недружелюбно и попытался ему преградить путь в комнату Сельмы. Гришке это явно не понравилось, он оттолкнул немца в сторону и переступил порог, бросая на возлежавшую в небрежной позе Сельму один за другим серебряные ефимки.

– Надеюсь, ты довольна? – с жаром спросил Гришка, и ответом ему был самый сладкий и страстный поцелуй, который ожёг его до самых пяток и заставил вострепетать всё тело в горячей лихорадке.

«Это добром не кончится, – размышлял Крузе, стоя возле ворот своего дома. – Русские правду говорят, что как день начался, так он и пройдёт. Это верная мысль, и мне нужно поберечься».

И немец, повздыхав, отправился к амбару, где лёг на лавку и через открытую дверь начал считать на небе звёзды. Сегодняшний досадный случай в пивной был им уже почти забыт, ведь Генриху Крузе жилось на Москве совсем неплохо и немало золотой и серебряной казны было им припрятано в разных местах в своём домовладении, вот и племянницу пристроил за надёжным немцем полковником Кодем, но та всё ещё не перебесилась, и это весьма беспокоило добропорядочного дядюшку Генриха.

Немецкая слобода погрузилась в сон и тишину, которую близко к рассвету нарушили лязг железа, тяжёлый конский топот и возгласы людей. Во всякой русской деревне этот шум вызвал бы заполошенный собачий лай, но у немцев на Кукуе даже собаки были по-немецки умны, они взирали только тогда, когда во двор лезли чужие. А таких среди приезжих не было, домой на побывку вернулись офицеры тульского солдатского полка, которые посчитали своим долгом проводить полковника Коля к дому Крузе, где он временно стоял на постое у своей венчанной жены.

Всадники остановили своих коней возле дома, и адъютант указал на слабо освещённое окно, за которым проглядывался женский силуэт:

– Вы, господин полковник, счастливый человек! Ваша прекрасная жена не спит и торопится вас встретить.

Коль отпустил своих офицеров и вплотную подъехал к воротам. Постоял, поднявшись на стременах, позаглядывал во двор, но он был пуст и никто не торопился встретить полковника. Тогда он стал слезать с коня, чтобы пройти во двор через калитку, и вдруг что-то грохнуло, послы-

шался женский возглас и топот убегающего человека. Полковник задумчиво нахмурился, крякнул и решительно распахнул калитку, с тем чтобы понять, что происходит в доме. На крыльце, освещённая серебристым светом луны, стояла укутанная в шёлковую шаль Сельма и простирала к своему суженому обнажённые руки.

– Кто здесь только что был? – грозно спросил полковник.

– Откуда мне знать, милый Густав? – дрожащим голосом вымолвила Сельма. – Я пошла тебе навстречу, открыла дверь, а на крыльце стоял огромный мужик. Но ты меня спас, милый!

Сторожевой пёс наконец покинул свою конуру и подошёл к крыльцу. Полковник на него посмотрел и с укором сказал:

– А ты, приятель, почему не облаял разбойника?

Пёс виновато вильнул хвостом и стал вылизывать полковничьи сапоги.

– Я этого так не оставляю! – грозно сказал Коль. – Вор далеко не ушёл, у него на пути Яуза.

Сельма жалобно вскрикнула, пытаясь остановить мужа, но он устремился через сад на берег реки, где в это время метался из стороны в сторону Гришка, стараясь сообразить, как спастись от приближающегося к нему с угрозами полковника Коля. Когда его громоздкая фигура стала проявляться в тумане уже совсем рядом, Котошихин снял сапоги, завязал их в полы однорядки и с узлом на плече кинулся в воду. Полковник, почувствовав близость врага, завопил и выстрелил из седельного пистолета. Кусок свинца с воем пролетел над Гришкиной головой и шлёпнулся в воду, подъячий заглотив пахнущей тиной воды и закашлялся, шумно взбивая воду руками и ногами. Узел с сапогами отнесло на сажень от Котошихина, и он стал медленно тонуть. Гришка кинулся спасать свою обувь и одежду. Коль выстрелил на шум из второго седельного пистолета, на этот раз пуля провизжала почти над самой головой Котошихина, но он уже уцепил узел рукою и скоро достал дрожащими ногами илистое и склизкое дно. Спотыкаясь и задышливо всхрипывая, он достиг берега и, едва ступив на твёрдую землю, упал на живот и изверг из себя пенистую струю речной воды.

– Это что ещё за утопленник? – раздался над ним укоризненный голос.

Гришка перевернулся на спину и увидел над собой четверых конных стрельцов ночной стражи, которые объезжали окраину Москвы и поспешили на звуки пистолетной пальбы, учинённой полковником Колем. Котошихин повернул голову в сторону Кукуя, ему послышался оттуда шум и плеск воды, и, привстав на колени, он взмолился:

– Не дайте, ребята, сгинуть! За мной гонится страшный убийца!

– Да кто ты такой сам-то, леший тебя побери? – сказал стрелецкий десятник.

– Я средний подъячий Посольского приказа Котошихин, – признался Гришка. – Подзадержался в слободе по служебной надобности. Вы, ребята, меня проводите хотя бы до Покровских ворот, а там я сам добежу до дома.

– Нашёл себе провожалников! – вскипел сотник. – Поднимайте его в тычки, ребята! А ты, чернильница, скоро узнаешь, каковы в Земском приказе подвальные клопы.

Стрельцы, поколачивая Гришку черенами своих бердышей, погнали его вприпрыжку к Земскому приказу. Там Котошихина ожидали скорая палочная расправа за ночной шум и передача в Посольский приказ для учинения над ним розыска.

Возле громадной избы Земского приказа горел костёр, освещавший две пушки, стрельцов и всякого вида людишек, которых со всего города во время своих обходов и облав насобирали и поймали ночная стража, и теперь они поджидали пристава и судей, кои решат, как с ними поступить согласно их вины и способности убедить судей весомым посулом. Гришку втокнули в толпу московских оборванцев, и он пал духом, представляя, как его встретит Алмаз Иванов после того, как ему доложат про похождения посольского подъячего. Оборванцы-гилевщики безропотно ждали всяк своей участи и вдруг взволновались и стали тарашиться на крыльцо. Гришка приподнялся на цыпочки и узрел своего приятеля Есина, который, к счастью Котошихина, был сегодня ночным начальником по Земскому приказу.

Есин не сразу, но узрел Котошихина, и не поленился к нему подойти, чтобы взять с собой в приказную избу.

– Рассказывай, Гришка, каково на немецкой перине ложится-спится? – сказал Есин, с ухмылкой разглядывая потрёпанного приятеля.

– Будет на испуг брать, – буркнул Котошихин, примериваясь, как поскорее отсюда улизнуть.

– Тебя же на Яузе взяли? – с деланным простодушием спросил Есин.

– Ну, там, а что?

– Дураку ясно, что ты полез вплавь через реку одетый, не спяна, а тебя гнали, как зайца, – улыбнулся Есин. – А про остальное мне и догадаться нетрудно.

– Давай о другом думать, как мне от тебя уйти и следов в твоём приказе не оставить, – искательно вымолвил Гришка. – За твою помощь я у тебя никогда в долгу не был. Помоги и на этот раз.

– Ты мне, Гришка, всегда по душе был тем, что не унываешь, – сказал Есин. – Мог бы солгать, но скажу правду. Утаить, что тебя взяли мокрым на Яузе, невозможно.

– Что, у вас в приказе полно завелось правдолюбцев? – изумился Гришка.

– Заводятся лишь клопы да тараканы, вот они начнут шуршать да постукивать, что ты здесь был, и дьяк Алмаз скоро про то услышит от тех клопов да тараканов, кои обитают в Посольском приказе.

– Что же мне делать? – огорчённо вздохнул Гришка. – Поманил меня лукавый на Кукуй, сам теперь в сторону, а мне своей спиной за его хитрости отвечать.

– Об этом ты, Гришка, с попами толкуй, они про чертей всё ведают, – сказал Есин. – Я тебя отпущу, но ты сразу явись к думному дьяку и без утайки обо всём поведай – повинную голову и меч не сечёт.

– Добро, так я и сделаю, – сказал Котошихин и поспешил в Посольский приказ, где привёл в мало-мальский порядок свою одежду и, в ожидании прихода думного дьяка, лёг на скамью в своей комнате и попытался задремать. Но сон обходил непутёвую голову подьячего стороной, ему мерещились то сладко-пылкая Сельма, то полковник Коль, выглядывающий на Гришку из тёмного угла и угрожающе наставивший на него свои огромные седельные пистолеты.

Кто-то заглянул в комнату и тотчас захлопнул дверь. Это был Прокофьев, сегодня явившийся раньше всех в приказ, чтобы принимать грамоты от гонцов, которые с рассвета начнут прибегать в город со станом, где они были задержаны от ночного въезда в Москву, дабы не попались в руки скорой на расправу ночной страже.

Мишка только что проходил возле Земского приказа, и знакомый пристав сообщил ему о задержании Котошихина в мокром виде на Яузе. Прокофьев чуть не подпрыгнул от радости, получив столь важное для него известие, прибежал в приказ и удостоверился, что Гришка лежит на лавке, а до этого он наоставил мокрых следов от сапог по всему коридору и в своей комнате. Новость жгла продажную душу подьячего, и он, оставив за себя ночного пристава, кинулся к государевым палатам, впритык к которым помещался ближний к великому государю Приказ тайных дел.

Никифоров был на месте и старательно вычитывал отписку из походной воинской канцелярии князя Якова Черкасского, которую сразу после утрени намеревался донести до великого государя. Он встретил Прокофьева угрюмым взглядом воспалённых от постоянного недосыпа глаз.

– Поторопись, Мишка! И не говори ничего пустого.

Выслушав донос, он довольно усмехнулся и потрепал подьячего по щеке.

– Ведь можешь служить, если постарайся! С Котошихина не спускай глаз, может, он, на наше счастье, с перепугу начнет дёргаться и тем обнажит своё предательское нутро.

– 7 –

С некоторых пор в государевых палатах Кремля воцарилось тревожное, приводившее царедворцев в трепет, ожидание чего-то плохого, что почти неизбежно свершится, и отвратить это несчастье сможет только чудо. Обычно уравновешенный и сдержанный Алексей Михайлович стал вспыльчив, криклив и непредсказуем своими повадками. Наученный царём драением бороды и пинками, его тесть Илья Милославский срочно захворал, чтобы ненароком не стать тем человеком, на котором царственный зять мог сорвать своё недовольство. За всех отдувался дьяк Приказа тайных дел Дементий Башмаков, который уже вторую неделю спал урывками, всё рыскал по Москве и по ближайшим селениям, отыскивая умелого лекаря, который взялся бы спасти двух любимых государевых кречетов от голодной смерти.

Эту пару самых красивых и добычливых птиц Алексею Михайловичу доставили из тундряных обских мест. И сам кречет, и чеглик – самка кречета, имели соколиные стати и чудесные чёрные глаза, которые казались ещё чернее и порой вспыхивали от белого цвета перьев, как драгоценные камни. Ещё две недели назад они были здоровы, весело брали добычу, но вдруг отказались от пищи, и голуби, коих им доставляли с царских голубятен, где их гнездились до ста тысяч, оставались нетронутыми, и, виданное ли дело, кречет и чеглик сидели на своих насестах, отвернувшись от самых раскормленных голубей, и, беспокойно помигивая, глядели в бездонно-синее небо.

Когда сокольничий сообщил царю о постигшем его несчастье, то Алексей Михайлович отменил встречу с посланцем знаменитого польского магната Юрия Любомирского, который во главе силезской шляхты выступил против короля Яна-Казимира и своими действиями заставил задуматься королевское величество о мире с Россией. Посланцу было сказано явиться на другой день, а сам великий государь, даже не сняв с себя двор-

цовое облачение, упал на своего выездного жеребца и, сопровождаемый толпой стряпчих, не разбирая пути, кинулся в Покровское.

Алексею Михайловичу принесли живого голубя, и он, произнося ласковые прозвища, подал его кречету, но тот даже не глянул на подношение царского величества и, исторгнув из себя короткий хриплый клекот, опять обратился к созерцанию московского неба. С той поры дьяк Башмаков не знал покоя, пока о царском горе не провели немцы и среди них нашелся конский лекарь, который пообещал излечить птицу, и был срочно под охраной отправлен в Покровское, где за ним приглядывал сам царский сокольничий.

И нынче, лишь только великий государь совершил утреннюю молитву, к нему явился Дементий Башмаков и своим ликующим видом вернул Алексею Михайловичу желание улыбаться.

– Что, ожили? – ещё не веря своему счастью, сказал царь.

– Немец очистил голубя от костей, мелко порубил его, и кречеты мясо взяли, каждый по голубю. За ночь они уже трижды принимали рубленую птицу. И на восход солнца откликнулись топорщаньем и помахиванием крыльев.

– Объяви немцу мою милость, – радостно сказал царь. – Коли лечение будет успешно, то он получит двадцать пять рублей, трёх соболей и службу по соколиной части со знатным содержанием в деньгах и поместным окладом.

– Сей немец находится в услужении полковника Коля, – доложил Башмаков. – Он доглядывает за конями его полка.

– Скажи полковнику, что я ему отдам за этого немца лучшего коновала в моём царстве, – сказал, нахмурясь, великий государь. – Это непозволительная роскошь заставлять лечить коней такого умельца. Он будет смотреть за моими соколами, и моя охота стоит того полка, что был разбит татарами и теперь отсиживается в Туле.

Алексей Михайлович лёгким мановением руки приблизил к себе дьяка и, достав из серебряной коробочки кусок сахара, протянул его Башмакову.

– Угостись, Дементий! Ты ведь у нас хмельного не пьёшь, так поешь сладенького. Ты в иные дни единственным трезвым человеком остаёшься на всю Москву. Счастливой вестью ты меня порадовал, нет ли у тебя такой же ещё?

В дверь царской комнаты кто-то постучал особым стуком.

– Что уши развесил, отопри! – турнул царь придремавшего комнатного стольника. – Это Ал-

маз каждое утро является со всякими обузами. Отправить его от себя к ляхам, что ли, чтобы отдохнуть самому?

Думный дьяк, согласно чину, земно поклонился великому государю и встал в стороне от Башмакова, коего вполне резонно считал своим вредителем и доводчиком великому государю всего, что можно было бы утаить, дабы не погружать его в душевное расстройство.

– Я сегодня, Алмаз, не стану дожидаться, когда ты меня озаботишь своими известиями, – сказал Алексей Михайлович. – Вот у меня отписка от князя Черкасского, он просит прислать ему двух толковых подьячих из твоего приказа, чтобы было кому отписывать полякам его намерения о предстоящем съезде послов в Дуровичах. Авось нам удастся вырвать у ляхов хотя бы года три перемирия.

– Тебе ведомы, великий государь, их неумные запросы, – сказал Алмаз. – Они требуют вернуть всю Малороссию, Смоленск и Северскую землю и ещё дать им десять миллионов золотых за тот ущерб, который понесли в этой войне.

– Их жадность мне не в новость, – промолвил царь. – Они то же самое говорили и во Львове Ордин-Нащёкину. Но сейчас нам надо усадить их за переговоры, а там, глядишь, на Польшу турки с татарами пойдут и королю надо будет с нами мириться.

– Уступать им придется, – вздохнул думный дьяк. – Но переговоры лучше войны.

– Вот и пошли подьячих, – указал великий государь. – Да пошли с ними дьяка Богданова, и он пусть возьмёт с собой, чтобы не метаться потом, для посольского обряда добрую карету, ковёр золотный, чтобы постилать его на стол во время переговоров, шатёр суконный красный, шандал серебряный, несколько шандалов медных, лохань с рукомойником серебряные, десять стоп бумаги и свечи восковые витые и сальные. И чернила не забудь, дай им кувшин или два, пусть пьшут. На чернила у меня деньги пока найдутся, а для войны казна пуста.

– Сегодня, великий государь, ты обещал принять посланца Юрия Любомирского, – напомнил Алмаз. – Посылать к нему приставов или погодить?

– Пусть подождёт до вечера, – сказал Алексей Михайлович. – Я спешу в Покровское, надо поглядеть, как немец кормит моих кречетов. Да, ты ведь и не знаешь, что они, кажется, ожили. Порадуйся вместе со мной, Алмазко! И будь готов к полю, я тебя позову на соколиную охоту.

– Благодарю за честь, великий государь! – с

чувством искренней радости сказал думный дьяк и с вызовом глянул на Дементия Башмакова, который не удостоился приглашения, но не был забыт Алексеем Михайловичем.

– Что за стрельба сегодня была на Кукуе? – спросил Алексей Михайлович. – Мне доложили, что стрельцы взяли на Яузе какого-то мокрого подьячего и отвели в Земский приказ.

Дементий даже и не гадал, что ему так скоро представится возможность уязвить дьяка Алмаза, но он не стал говорить всей правды, которую ему довел Никифоров:

– Розыск ещё не доведён до конца. Пока есть подозрение, что это подьячий Посольского приказа.

– Что такое, Алмазко? – удивился Алексей Михайлович. – Откуда у твоих людишек такая прыть? Разыщи этого подьячего и, если окажется, что он невиновен, всё равно убери его куда-нибудь подальше. Мне немцы своими поединками и мордобоями наскучили, а теперь и подьячие стали прыгать в воду.

– Непременно разыщу, великий государь, и ему не поздоровится, – сказал Алмаз, уже начиная догадываться, кто из его людей переполошил Немецкую слободу.

– А теперь, дьяки, ступайте, – разрешил Алексей Михайлович. – Мне надо переобуться в сапоги, а то, кажется, скоро задождит.

Думный дьяк с царского крыльца глянул на небо и убедился, что оно набухло тёмными тучами, из которых вот-вот готов обрушиться ливень. Он, не дожидаясь ненастья, быстро достиг своего приказа, заставив своим появлением всех притихнуть и подтянуться. В комнате дьяк застал своего ближнего подьячего, который стирал пыль со стола начальника и собирался приступить к очинке гусиных перьев. Алмаз продиктовал ему всё, что царь разрешил отправить для посольства князю Черкасскому, и велел составить в Казенный приказ запрос на получение этих вещей.

Отпустив подьячего, думный дьяк открыл тетрадь, в которую заносилась для памяти поступающая в приказ почта, но в дверь послышалось робкое постукивание.

– Ты, Мишка, ко мне в комнату протискаиваешься с такой опаской, будто ждёшь, что я в тебя запущу чернильницей, – недовольно пробурчал Алмаз. – Говори, с каким делом явился?

Прокофьев скорым шагом приблизился к столу и зашептал:

– Я, милостивец, по твоему слову за Котошихиным всё это время приглядывал и только-только

от своего приятеля проведал, что мокрого Гришку стража взяла на Яузе.

– Ты ни с кем, кроме меня, ещё не поспешил поделиться этой новостью? – спросил, окидывая донощика презрительным взглядом, думный дьяк. – Или уже успел сбежать к Юшке Никифорову?

– Я чист перед тобой, милостивец! – упав на колени, зачистил Мишка. – У меня и в уме нет чем-то тебе навредить.

– Утри сопли! – озлился Алмаз. – И будь готов на днях убраться из Москвы!

– Не погуби, милостивец! – начал подвывать Прокофьев. – На Енисее я не проживу и года. Не погуби, ради детей малых и хворой женки!..

Котошихин тем временем обсох, кое-как привёл к смирению обуревавшие его страхи и решил идти к Алмазу, чтобы во всём ему покаяться. По привычке он поднял глаза к образу Спасителя в красном углу, но сразу от него отвернулся, Гришка стал избегать встречаться с Христом взглядом из-за того невыносимого укора, который он сразу прочитывал в его всевидящем людские грехи взоре.

В комнату начальника приказа Гришка вошёл развязной походкой человека, которому любой гнев и любая кара были не в новинку. Думный дьяк окинул его тусклым взглядом усталого от людской глупости и подлости всевидца.

– Чему радуешься, Гришка? Может, полтину нашёл этой ночью на Яузе и теперь замыслил её пропить в государевом кружале?

«Он всё знает! – мелькнуло в голове подьячего. – Всё! И про то, как я своровал наказ, и про вчерашнее моё воровство».

– Хочешь казни, а хочешь милуй, – пролепетал он, падая на колени, и уткнулся лбом в грязную половую плаху.

– Поднимись, Гришка, – думный дьяк откинулся в кресле и вздохнул, – стало быть, тебя не только миловать, но и казнить есть за что?

– У каждого на Руси есть своя вина перед Господом и царём, – сказал Гришка. – И я не лучше других.

– И чем же ты не лучше? Поведай, за каким грехом тебя носило в Немецкую слободу? – усмехнулся Алмаз. – Или ты не с Кукуя, а с небес упал в Яузу?

– Грешен я, милостивец, – огорчённо вымолвил Гришка. – Не мог совладать с похотью и был уловлен ею так, что потерял разум и совесть.

– Я тебе не поп, чтобы мне врать, – стал злиться задетый явным перед ним притворством думный дьяк. – Говори всё по правде, а то сейчас же велю приставам бить тебя батогами за твоё враньё и ёрничанье.

– Я правду говорю, – испугался Котошихин. – Сошёлся я по случаю с немкой. Вечор отправился её навестить, но к утру заявился её муж и чуть было не накрыл меня в своём доме.

– Кто этот немец? – строго сказал Алмаз. – Он же за тобой гнался до Яузы и стрелял из пистолетов.

– Полковник Коль, – поколебавшись, тихо вымолвил Гришка. – И теперь я его боюсь, милостивец, пуще, чем твоего наказания. В гневе он лют и меня не пощадит. Он на Кукуе проколол шпагой на поединках трёх женихов.

– А ты не худо задумал, – усмехнулся Алмаз. – Решил спрятаться от полковника за моей спиной. И эта немка тоже хороша! Променяла своего германского немца на Гришку Котошихина. И что она в тебе нашла?

– Не ведаю, милостивец, – подъячий почувствовал, что Алмаз и не думает вскипать на него гневом, и стал обретать надежду на спасение.

– Может, ты ей своей мочальной бородёнкой приглянулся? Или тем, что обычно скрывается от чужих глаз?

– Не ведаю, милостивец! – угодливо хихикнул Котошихин. – Одно помню, что она часто вскрикивала: «Гут, Гришка! Гут!..»

– Нашёл чему радоваться, дурак! – скривился Алмаз. – Мне тебя и наказывать не надо: скоро тебя разыщет полковник Коль и возденет твои причиндалы на свою шпагу.

– Куда же мне деваться? – испугался Котошихин. – Он меня точно изуродует.

– А ты, Гришка, возмечтал лазить в чужой дом и быть не пойманным? Ты немцу нанёс смертельную обиду. Был бы дворянин, так мог бы спастись поединком, а ты смерд, с тобой полковник судиться не станет, просто прихлопнет, как муху, а сверху плюнет и разотрёт грязь сапогом.

Страдая Гришку, думный дьяк мысленно над ним потешался и был готов протянуть подъячему руку помощи, ему понравилась бесшабашность, с какой тот уязвил полковника Коля, которого в приказах недолюбливали из-за его вздорного нрава. Но и такая слава подъячего была Алмазу не нужна: от Котошихина надо было немедленно избавляться, чтобы у немцев поскорее выветрилась память от его походов на Кукуе.

– Выпиши Котошихину подорожную грамоту к князю Черкасскому! – велел он своему помощнику. – Выдай ему жалованье за полгода и хлебные деньги. А ты, Гришка, сделай так, чтобы даже твоего духу к вечеру не было на Москве!

Дьяк Дохтуров, когда Гришка явился к нему сдавать имевшиеся под его росписью докумен-

ты, скорому отъезду Котошихина не удивился: в приказе бывало такое не раз, когда подъячий приходил на службу и пропадал для своих родственников, и только потом они узнавали, что он послан на Дон, на Кавказ, а то и в Даурию, на границу с Китаем.

Вскоре была готова и подорожная грамота. Подписывая её, дьяк Алмаз дал Гришке напутствие:

– Скоро за тобой следом явится дьяк Богданов. Советую тебе его остерегаться и не волновать понапрасну: он не будет беречь, как я, твою драгую спину.

– И долго мне быть в отъезде?

– Пока полковник Коль не съедет от Москвы в свою неметчину или, не дай бог, на тот свет.

Дьяк Алмаз уткнулся в лежавшую перед ним грамоту, а Гришка потоптался, повздыхал и, не дождавшись от начальника отклика, пошёл в свою комнату, где простился с подъячими, и вышел из приказной избы, через десяток шагов обернулся на неё поглядеть и направился к выходу из Кремля. Слоняясь между торговых рядов на площади, Гришка раздумывал, стоит ли ему прощаться с Блуме, наконец решился и, путая следы, добежал до торгового амбара, коим владел немец.

Блуме был на месте, он стоял за конторками и в толстой тетради делал записи. Увидев Гришку, он переполошился, схватил его за руку и повлёк за собой в глубокий подвал, где царил крошечный свет, пахло могильной сыростью, а сверху сочились ледяные капли. Гришка несколько раз ударился ногой и боком о какие-то жёсткие выступы, пока Блуме не дотаскил его до тайной каморки, где сидел громадный мужик и в ногах у него валялся мясницкий топор. У Гришки ватно обмякли ноги, он вякнул и покачнулся, почувствовав, что сейчас лишится памяти. Блуме не дал ему свалиться и сказал:

– Ступай, Наумка, наверх, пригляди за амбаром.

Мужик молча поднялся и вышел вон, а Блуме зажжённую свечу и зло вымолвил:

– Ты что, решился яму под собой и подо мной вырыть?

– Я же не просто так пришёл, – пролепетал Гришка. – Меня выгоняют из Москвы в Смоленск. Вот решил попрощаться.

– Для нас всех счастье, что тебя в Москве не будет, – обрадовался Блуме и сразу же обеспокоился. – А может, ты всё врешь?

– Как же, вру! – заторопился Гришка. – Вот моя подорожная грамота. Выписана князю Черкасскому.

Немец проглядел грамоту и сказал:

– Раз ты едешь в Смоленск, то не затевается ли там какое-нибудь важное дело?

Гришка обрадовался: немец хочет получить у него новость, но забесплатно он ему её не отдаст.

– Скоро близ Смоленска произойдут важные события, небезынтересные для шведского королевства.

Небрежно вымолвленные Котошихиным слова враз улучшили отношение немца к подьячему. Блуме извлёк из шкафчика кувшин романи, засахаренные персики.

– Жаль расставаться с тобой, Григорий, но что поделать. Выпьем в таком разе за твой добрый путь и пожелаем друг другу приятной встречи.

После выпитой романи Котошихин ничуть не размяк и на уговоры Блуме открыть ему, что затевается близ Смоленска, ответил с прямодушной наготой:

– Не с того конца, Яков, ты ко мне мостишься. Ты не плутай вокруг да около, объяви, что берёшь у меня секрет за десять рублей. Мы бы ударили по рукам и разбежались.

– Десять рублей незнамо за что, – удивился Блуме. – Не много ли?

– Я могу взять и десять-двадцать риксдалеров, раз у тебя нет русских денег.

– Но ты скажи хоть немного, что у тебя за секрет?

– Сначала давай деньги, – сказал Гришка и, пользуясь заминкой, налил чарку романи и выпил.

Блуме сдался и, вынув из кармана кошель, отсчитал десять рублей. Гришка сгрёб их в свой карман и, приблизившись к немцу, рассказал ему, сгущая краски, заведомую ложь о скором заключении перемирия между Россией и Польшей. Блуме всё это в себя впитал и с благодарностями проводил Гришку из подвала каким-то подземным ходом в грязную амбарушку, откуда тот вышел на Лубянку и поспешил к себе домой.

Скорое расставание с Москвой заставило Гришку вспомнить о семье, мысли о которой редко посещали его занятую самоистребительными безумствами голову. Дома Котошихин бывал только ночью, всё остальное время у него занимала приказная работа и суета вокруг немцев, в которую он ввязался по любопытству и живости нрава, но вскоре увяз в ней, да так, что выбраться из беды можно было, лишь потеряв свою голову. Жену Устинью и сыновей он видел чаще всего спящими, когда приходил в избу, вечерял тем, что находил на сковороде или в котле, снимал са-

поги и ложился на лавку отдельно от Устиньи, от которой он давно отстал, сначала по её частым хворям, а затем из-за Сельмы, явившей Гришке в своих любовных хитростях нечто такое, что ему даже не снилось. Сладость и чистота немецкой девки заставили Гришку отвернуться от супруги, не знавшей шёлковых штанцов и пахнувшей не розовой водой из Кёльна, а распаренным берёзовым венником и сажей чёрной бани.

Не заходя в избу, Гришка прошёл к своей захоронке, выкопал её и пересчитал деньги, коих нашлось на три рубля больше, чем он надеялся. Это показалось ему добрым знаком, и в избу он пришёл в светлом настроении и даже улыбнулся Устинье, чего с ним уже давно не случалось.

– Где ребята? – спросил Гришка. – Опять где-нибудь озоруют?

– По-всякому бывает. Почему бы им не озоровать, ведь твои. А ты до сих пор озорujesz...

– Где ребята? – перебил жёнку Гришка.

– На пруду в деревянных корытах плавают, лягушек пугают. На что они тебе?

– Я, Устинья, сегодня еду в Смоленск.

– И надолго? – всплеснула руками жёлка, и у неё на глазах показались слёзы. – Как мы тут без тебя справимся, ума не приложу.

– Ребят отведи к моему родителю в монастырь. Пора им грамотой заниматься, а не бегать без дела между дворов.

– У меня денег почти не осталось из тех, что ты на Пасху давал.

Гришка выложил на стол двадцать рублей, и при виде денег у жёлки мигом высохли слёзы.

– Отдашь монастырским за обучение и содержание ребят пять рублей. Остальных тебе на год должно хватить, если без меня не загуляешь.

– Скажешь тоже, – улыбнулась жёлка, стеснительно прикрывая ладонью рот, в котором не было и половины зубов. – Пора уже о своём успении озаботиться. У меня лишь одна думка – дожить бы до внуков.

- 8 -

Котошихин в избе не засиделся, собрал мешок с нужными вещами, приласкал прибежавших с пруда сыновей и отправился в Земляной город, где находился складской двор Разрядного приказа, довольствовавшийся русские войска на войне с Польшей людским пополнением, конями, оружием, порохом, свинцом, а также всякими пищевыми и вещевыми припасами, и всё это исчезало в дыму и пламени сражений, как в без-

донной пропасти. Война была прожорлива и ненасытна, и ежедневно из Москвы на Смоленск отправлялись сотни телег, на это и рассчитывал Котошихин, и не ошибся. Он открыл свою подорожную грамоту начальнику обоза, и тот указал ему на телегу, на которой были сложены и увязаны кули с сухарями.

– Можешь их грызть, лёжа на боку, всю дорогу, – сказал стрелецкий сотник. – А в Смоленске покажешь мне дорогу к кабаку.

На счастье, долго не было дождей, и обоз не увяз в грязи, не утонул в болотинах и трясилах, а уверенно шёл своим путём, в стороне от проезжей дороги, где выбитые колёсами телег колдобины и ухабы закаменели и стали совсем непроезжими. Обоз шёл то полем, то лугом, то редколесьем, на телеге было тряско, тогда Гришка с неё сходил, шёл, похрустывая сухарём, рядом, временами припадал губами к роднику или ручью, чтоб размочить сухарную жёсткость во рту.

Москва была уже далеко за спиной, но страх разоблачения ещё не выветрился из подъячего, совершившего за какие-то три дня три предательства. Вредоноснее остальных была передача шведскому послу наказа великого государя окольничему Волынскому на переговорах о денежных требованиях Швеции к России. Другие два предательства были не так губительны, но разве можно назвать убийство малым или большим? Убийство всегда убийство, так и преда-

тельство, совершив его, изменник враз разрывает нравственные скрепы, которыми был соединён с соотечественниками, он выходит из круга родства с другими людьми по Отечеству и не пристает к тем, для кого совершил предательство: заплатив ему деньги, они гнушаются изменником и никогда не признают его за ровню себе.

Всё это было ещё неведомо Котошихину, он пока что испытывал не нравственные муки, а страх разоблачения и последующей казни. Душевное спокойствие Гришка искал в самооправдании и легко находил причину, побудившую его совершить немислимые греховные проступки, в той жизни, что ему пришлось вести не по своему выбору, по рождению в стране, которая никогда не была ему мила, а в какой-то миг до того обрыдла, что его стошнило предательством.

Но Гришка был ещё далёк от понимания того, что он натворил, и ему было весело, что он оказался годным взять да и совершить такое, что не под силу другим. Многие тысячи приказных на Москве гнули спины и колотились лбом о пол перед сильными людьми, и только у него достало силы отомстить за свои обиды единственным доступным способом, какой ему предоставил случай, и раскаиваться в содеянном Гришка даже не думал.

□

Николай Алексеевич ПОЛОТНЯНКО

родился в 1943 году в Алтайском крае.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Прозаик, поэт, публицист.

Автор романов, в том числе трилогии («Государев наместник», «Атаман всея гулевой Руси», «Клад Емельяна Пугачева», под псевд. Николай Суздаев, ЭКСМО, (2007–2009), а также поэтических книг: «Братина» (1977), «Просёлок» (1982), «Круги земные» (1989), «Журавлиный оклик» (2008), «Русское зарево» (2011), «Бунт совести» (2015), «Судьба России» (2016) и др.

Основатель журнала «Литературный Ульяновск» и главный редактор (2006–2018).

Награждён литературной премией имени И.А. Гончарова (2008), Почётной медалью имени Н.М. Карамзина (2011), орденом Достоевского 1-й степени (Пермский край, 2014) и др.

